

ЛЕОНИД АНДРЕЕВ

ИУДА ИСКАРИОТ



Книги для души. Православная библиотека

Леонид Андреев

Иуда Искариот

«Издательство АСТ»

1898-1914

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Андреев Л. Н.

Иуда Искарот / Л. Н. Андреев — «Издательство АСТ»,
1898-1914 — (Книги для души. Православная библиотека)

ISBN 978-5-17-151423-5

Блестящий русский писатель Леонид Андреев (1871–1919) известен как мастер драматургии и психологического рассказа. Богоискательство, поиски света и утешения свойственны многим его героям, сынам человеческим, среди которых и священник Василий Фивейский, чья жизнь похожа на бесконечное испытание праведника Иова, и простой купец Меркулов, по наитию исполняющий пасхальные обряды, и мальчик Сашка, среди несчастной жизни заметивший и полюбивший маленького воскового ангелочка... Но такие поиски веры не безмятежны и зачастую так и остаются неоконченными, ведь своего Бога эти люди ищут, спускаясь подчас в самые черные и страшные глубины жизни, из которых не могут выбраться.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-151423-5

© Андреев Л. Н., 1898-1914
© Издательство АСТ, 1898-1914

Содержание

Баргамот и Гараська	6
Гостинец	12
Христиане	17
Ангелочек	28
Что видела галка	36
Весенние обещания	39
В Сабурове	49
Сын человеческий	56
Конец ознакомительного фрагмента.	57

Леонид Андреев

Иуда Искариот



Баргамот и Гараська

Было бы несправедливо сказать, что природа обидела Ивана Акиндиныча Бергамотова, в своей официальной части именовавшегося «городовой бляха № 20», а в неофициальной – попросту «Баргамот». Обитатели одной из окраин губернского города Орла, в свою очередь, по отношению к месту жительства называвшиеся пушкарями (от названия Пушкарной улицы), а с духовной стороны характеризовавшиеся прозвищем «пушкари – проломленные головы», давая Ивану Акиндину этому имя, без сомнения, не имели в виду свойств, присущих столь нежному и деликатному плоду, как бергамот. По своей внешности Баргамот скорее напоминал мастодонта или вообще одного из тех милых, но погибших созданий, которые за недостатком помещения давно уже покинули землю, заполненную мозгляками-людишками. Высокий, толстый, сильный, громогласный Баргамот составлял на полицейском горизонте видную фигуру и давно, конечно, достиг бы известных степеней, если бы душа его, сдавленная толстыми стенами, не была погружена в богатырский сон. Внешние впечатления, проходя в душу Баргамота через его маленькие, заплывшие глазки, по дороге теряли всю свою остроту и силу и доходили до места назначения в виде слабых отзвуков и отблесков. Человек с возвышенными требованиями назвал бы его куском мяса, околоточные надзиратели величали его дубиной, хоть и исполнительской; для пушкарей же – наиболее заинтересованных в этом вопросе лиц – он был степенным, серьезным и солидным человеком, достойным всякого почета и уважения. То, что знал Баргамот, он знал твердо. Пусть это была одна инструкция для городских, когда-то с напряжением всего громадного тела усвоенная им, но зато эта инструкция так глубоко засела в его неповоротливом мозгу, что вытравить ее оттуда нельзя было даже крепкой водкой. Не менее прочную позицию занимали в его душе немногие истины, добытые путем житейского опыта и, безусловно, господствовавшие над местностью. Чего не знал Баргамот, о том он молчал с такой несокрушимой солидностью, что людям знающим становилось как будто немного совестно за свое знание. А самое главное – Баргамот обладал непомерной силищей, сила же на Пушкарной улице была все. Населенная сапожниками, пенькотрепальщиками, кустарями-портными и иных свободных профессий представителями, обладая двумя кабаками, воскресеньями и понедельниками, все свои часы досуга Пушкарная посвящала гомерической драке, в которой принимали непосредственное участие жены, растрепанные, простоволосые, растаскивающие мужей, и маленькие ребятишки, с восторгом взиравшие на отвагу тятек. Вся эта буйная волна пьяных пушкарей, как о каменный оплот, разбивалась о непоколебимого Баргамота, забиравшего методически в свои мощные длани пару наиболее отчаянных крикунов и самолично доставлявшего их «за клин». Крикуны покорно вручали свою судьбу в руки Баргамота, протестуя лишь для порядка.

Таков был Баргамот в области международных отношений. В сфере внутренней политики он держался с неменьшим достоинством. Маленькая, покосившаяся хибарка, в которой обитал Баргамот с женой и двумя детишками и которая с трудом вмещала его грузное тело, трясясь от дряхлости и страха за свое существование, когда Баргамот ворочался, – могла быть спокойна если не за свои деревянные устои, то за устои семейного союза. Хозяйственный, рачительный, любивший в свободные дни копать в огороде, Баргамот был строг. Путем того же физического воздействия он учил жену и детей, не столько сообразуясь с их действительными потребностями в науке, сколько с теми неясными на этот счет указаниями, которые существовали где-то в закоулке его большой головы. Это не мешало жене его Марье, еще молодой и красивой женщине, с одной стороны, уважать мужа, как человека степенного и непьющего, а с другой – вертеть им, при всей его грузности, с такой легкостью и силой, на которую только и способны слабые женщины.

Часу в десятом теплого весеннего вечера Баргамот стоял на своем обычном посту, на углу Пушкарной и 3-й Посадской улиц. Настроение Баргамота было скверное. Завтра светлое Христово воскресение, сейчас люди пойдут в церковь, а ему стоять на дежурстве до трех часов ночи, только к разговинам домой попадешь. Потребности молиться Баргамот не ощущал, но праздничное, светлое настроение, разлитое по необычайно тихой и спокойной улице, коснулось и его. Ему не нравилось место, на котором он ежедневно спокойно стоял в течение десятка годов: хотелось даже делать что-нибудь такое праздничное, что делают другие. В виде смутных ощущений поднимались в нем недовольство и нетерпение. Кроме того, он был голоден. Жена нынче совсем не дала ему обедать. Так, только тюри пришлось похлебать. Большой живот настоятельно требовал пищи, а разговляться-то когда еще!

– Тьфу! – плюнул Баргамот, сделав сигарку и начал нехотя сосать ее. Дома у него были хорошие папиросы, презентованные местным лавочником, но и они откладывались «до разговленья».

Вскоре потянулись в церковь и пушкари, чистые, благообразные, в пиджаках и жилетах поверх красных и синих шерстяных рубах, в длинных, с бесконечным количеством сборок сапогах на высоких и острых каблучках. Завтра всему этому великолепию предстояло частью попасть на стойку кабаков, а частью быть разорванным в дружеской схватке за гармонию, но сегодня пушкари сияли. Каждый бережно нес узелок с пасхой и куличами. На Баргамота никто не обращал внимания, да и он с неособенной любовью посматривал на своих «крестников», смутно предчувствуя, сколько путешествий придется ему завтра совершить в участок. В сущности, ему было завидно, что они свободны и идут туда, где будет светло, шумно и радостно, а он торчи тут как неприкаянный.

«Стой тут из-за вас, пьяниц!» – резюмировал он свои размышления и еще раз плюнул – сосало под ложечкой.

Улица опустела. Отзвонили к обедне. Потом радостный, переливчатый трезвон, такой веселый после заунывных великопостных колоколов, разнес по миру благостную весть о воскресении Христа. Баргамот снял шапку и перекрестился. Скоро и домой. Баргамот повеселел, представляя себе стол, накрытый чистой скатертью, куличи, яйца. Он не торопясь со всеми похристосуеться. Разбудят и принесут Ванюшку, который первым делом потребует крашеного яичка, о котором целую неделю вел обстоятельные беседы с более опытной сестренкой.

Вот то разинет он рот, когда отец преподнесет ему не линючее, окрашенное фуксином яйцо, а настоящее мраморное, что самому ему презентовал все тот же обязательный лавочник! «Потешный мальчик!» – ухмыльнулся Баргамот, чувствуя, как что-то вроде родительской нежности поднимается со дна его души.

Но благодушие Баргамота было нарушено самым подлым образом. За углом послышались неровные шаги и сиплое бормотанье. «Кого это несет нелегкая?» – подумал Баргамот, заглянул за угол и всей душой оскорбился. Гараська! Сам со своей собственной пьяной особой, – его только не доставало! Где он поспел до свету наклюкаться, составляло ею тайну, но что он наклюкался, было вне всякого сомнения. Его поведение, загадочное для всякого постороннего человека, для Баргамота, изучившего душу пушкаря вообще и подлую Гараськину натуру в частности, было вполне ясно. Влекомый непреодолимой силой, Гараська со середины улицы, по которой он имел обыкновение шествовать, был притиснут к забору. Упершись обеими руками и сосредоточенно-вопросительно вглядываясь в стену, Гараська покачивался, собирая силы для новой борьбы с неожиданными препятствиями. После непродолжительного напряженного размышления Гараська энергично отпихнулся от стены, допятился задом до середины улицы и, сделав решительный поворот, крупными шагами устремился в пространство, оказавшееся вовсе не таким бесконечным, как о нем говорят, и в действительности ограниченное массой фонарей. С первым же из них Гараська вступил в самые тесные отношения, заключив его в дружеские и крепкие объятия.

– Фонарь. Тпру! – кратко констатировал Гараська совершившийся факт. Вопреки обыкновению, Гараська был настроен чрезвычайно добродушно. Вместо того чтобы обсыпать столб заслуженными ругательствами, Гараська обратился к нему с кроткими упреками, носившими несколько фамильярный оттенок.

– Стой, дурашка, куда ты?! – бормотал он, откачиваясь от столба и снова всей грудью припадая к нему и чуть не сплющивая носа об его холодную и сыроватую поверхность. – Вот, вот!.. – Гараська, уже наполовину скользнувший вдоль столба, успел удержаться и погрузиться в задумчивость.

Баргамот с высоты своего роста, презрительно скосив губы, смотрел на Гараську. Никто ему так не досаждал на Пушкарной, как этот пьянчужка. Так посмотришь – в чем душа держится, а скандалист первый на всей окраине. Не человек, а язва. Пушкарь напьется, побуйнит, переночует в участке – и все это выходит у него по-благородному а Гараська все исподтишка, с язвительностью. И били-то его до полусмерти, и в части впроголодь держали, а все не могли отучить от ругани, самой обидной и злоязычной. Станет под окнами кого-нибудь из наиболее почетных лиц на Пушкарной и начнет костить, без всякой причины, здорово живешь. Приказчики ловят Гараську и бьют, – толпа хохочет, рекомендуя поддать жару. Самого Баргамота Гараська ругал так фантастически реально, что тот, не понимая даже всей соли Гараськиных острот, чувствовал, что он обижен более чем если бы его выпороли.

Чем промышлял Гараська, оставалось для пушкарей одной из тайн, которыми было облечено все его существование. Трезвым его не видел никто, даже та нянька, которая в детстве ушибает ребят, после чего от них слышится спиртной запах, – от Гараськи и до ушиба несло сивухой. Жил, то есть ночевал, Гараська по огородам, по берегу, под кусточками. Зимой куда-то исчезал, с первым дыханием весны появлялся. Что его привлекало на Пушкарную, где его не бил только ленивый, – было опять-таки тайной бездонной Гараськиной души, но выжить его ничем не могли. Предполагали, и не без основания, что Гараська поворачивает, но поймать его не могли и били лишь на основании косвенных улики.

На этот раз Гараське пришлось, видимо, преодолеть нелегкий путь. Отрепья, делавшие вид, что они серьезно прикрывают его тощее тело, были все в грязи, еще не успевшей засохнуть. Физиономия Гараськи, с большим отвислым красным носом, бесспорно служившим одной из причин его неустойчивости, покрытая жиденькой и неравномерно распределенной растительностью, хранила на себе вещественные знаки вещественных отношений к алкоголю и кулаку ближнего. На щеке у самого глаза виднелась царапина, видимо, недавнего происхождения.

Гараське удалось наконец расстаться со столбом, когда он заметил величественно-безмолвную фигуру Баргамота. Гараська обрадовался.

– Наше вам! Баргамоту Баргамотычу!.. Как ваше драгоценное здоровье? – Галантно он сделал ручкой, но, пошатнувшись, на всякий случай уперся спиной в столб.

– Куда идешь? – мрачно прогудел Баргамот.

– Наша дорога прямая...

– Воровать? А в часть хочешь? Сейчас, подлеца, отправлю.

– Не можете.

Гараська хотел сделать жест, выражающий удалство, но благоразумно удержался, плюнул и пошаркал на одном месте ногой, делая вид, что растирает плевки.

– А вот в участке поговоришь! Марш! – мощная длань Баргамота устремилась к засаленному вороту Гараськи, настолько засаленному и рваному что Баргамот был, очевидно, уже не первым руководителем Гараськи на тернистом пути добродетели.

Встряхнув слегка пьяницу и придав его телу надлежащее направление и некоторую устойчивость, Баргамот потащил его к вышеуказанной им цели, совершенно уподобляясь могучему буксиру, влекущему за собою легонькую шхуну, потерпевшую аварию у самого входа в гавань. Он чувствовал себя глубоко обиженным: вместо заслуженного отдыха тащись с этим пьянчуж-

кой в участок. Эх! У Баргамота чесались руки, но сознание того, что в такой великий день как будто неудобно пускать их в ход, сдерживало его. Гараська шагал бодро, совмещая удивительным образом самоуверенность и даже дерзость с кротостью. У него, очевидно, была своя мысль, к которой он и начал подходить сократовским методом:

– А скажи, господин городской, какой нынче у нас день?

– Уж молчал бы! – презрительно ответил Баргамот. – До свету налился.

– А у Михаила-архангела звонили?

– Звонили. Тебе-то что?

– Христос, значит, воскрес?

– Ну, воскрес.

– Так позвольте... – Гараська, ведший этот разговор вполборота к Баргамоту решительно повернулся к нему лицом.

Баргамот, заинтригованный странными вопросами Гараськи, машинально выпустил из руки засаленный ворот; Гараська, утратив точку опоры, пошатнулся и упал, не успев показать Баргамоту предмета, только что вынутого им из кармана. Приподнявшись одним туловищем, опираясь на руки, Гараська посмотрел вниз, – потом упал лицом на землю и завыл, как бабы воют по покойнике.

Гараська воеет! Баргамот изумился. «Новую шутку, должно быть, выдумал», – решил он, но все же заинтересовался, что будет дальше. Дальше Гараська продолжал выть без слов, по-собачьи.

– Что ты, очумел, что ли? – ткнул его ногой Баргамот. Воеет. Баргамот в раздумье.

– Да чего тебя расхватывает?

– Яи-ч-ко...

Гараська, продолжая выть, но уже потише, сел и поднял руку кверху. Рука была покрыта какой-то слизью, к которой пристали кусочки крашеной яичной скорлупы. Баргамот, продолжая недоумевать, начинает чувствовать, что случилось что-то нехорошее.

– Я... по-благородному... похристосоваться... яичко, а ты... – бессвязно бурлил Гараська, но Баргамот понял. Вот к чему, стало быть, вел Гараська: похристосоваться хотел, по христианскому обычаю, яичком, а он, Баргамот, его в участок пожелал отправить. Может, откуда он это яичко нес, а теперь вон разбил его. И плачет.

Баргамоту представилось, что мраморное яичко, которое он бережет для Ванюшки, разбилось, и как это ему, Баргамоту, было жаль.

– Экая оказия, – мотал головой Баргамот, глядя на валявшегося пьянчужку и чувствуя, что жалок ему этот человек, как брат родной, кровно своим же братом обиженный.

– Похристосоваться хотел... Тоже душа живая, – бормотал городской, стараясь со всею неуклюжестью отдать себе ясный отчет в положении дел и в том сложном чувстве стыда и жалости, которое все более угнетало его. – А я, тово... в участок! Ишь ты!

Тяжело крикнув и стукнув своей «селедкой» по камню, Баргамот присел на корточки около Гараськи.

– Ну... – смущенно гудел он. – Может, оно не разбилось?

– Да, не разбилось, ты и морду-то всю готов разбить. Ирод!

– А ты чего же?

– Чего? – передразнил Гараська. – К нему по-благородному а он в... в участок. Может, яичко-то у меня последнее? Идол!

Баргамот пыхтел. Его несколько не оскорбляли ругательства Гараськи: всем своим нескладным нутром он ощущал не то жалость, не то совесть. Где-то, в самых отдаленных недрах его дюжего тела, что-то назойливо сверлило и мучило.

– Да разве вас можно не бить? – спросил Баргамот не то себя, не то Гараську.

– Да ты, чучело огородное, пойми...

Гараська, видимо, вошел в обычную колею.

В его несколько проясневшем мозгу вырисовалась целая перспектива самых соблазнительных ругательств и обидных прозвищ, когда сосредоточенно сопевший Баргамот голосом, не оставлявшим ни малейшего сомнения в твердости принятого им решения, заявил:

– Пойдем ко мне разговляться.

– Так я к тебе, пузатому черту, и пошел!

– Пойдем, говорю!

Изумлению Гараськи не было границ. Совершенно пассивно позволив себя поднять, он шел, ведомый под руку Баргамотом, шел – и куда же? – не в участок, а в дом к самому Баргамоту чтобы там еще... разговляться! В голове Гараськи блеснула соблазнительная мысль – наострить от Баргамота лыжи, но хоть голова его и прояснела от необычности положения, зато лыжи находились в самом дурном состоянии, как бы поклявшись вечно цепляться друг за друга и не давать друг другу ходу. Да и Баргамот был так чуден, что Гараське, собственно говоря, и не хотелось уходить. С трудом ворочая языком, приискивая слова и путаясь, Баргамот то излагал ему инструкцию для городских, то снова возвращался к основному вопросу о битье и участке, разрешая его в смысле положительном, но в то же время и отрицательном.

– Верно говорите, Иван Акиндинч, нельзя нас не бить, – поддерживал Гараська, чувствуя даже какую-то неловкость: уж больно чуден был Баргамот!

– Да нет, не то я говорю... – мямлил Баргамот, еще менее, очевидно, чем Гараська, понимавший, что городит его суконный язык...

Пришли наконец домой, – и Гараська уже перестал изумляться. Марья сперва вытаращила глаза при виде необычайной пары, но по растерянному лицу мужа догадалась, что противоречить не нужно, а по своему женскому мягкосердечию живо смекнула, что надо делать.

Вот ошалевший и притихший Гараська сидит за убраным столом. Ему так совестно, что хоть сквозь землю провалиться. Совестно своих отрепий, совестно своих грязных рук, совестно всего себя, оборванного, пьяного, скверного. Обжигаясь, ест он дьявольски горячие, заплывшие жиром щи, проливает на скатерть и, хотя хозяйка деликатно делает вид, что не замечает этого, конфузится и больше проливает. Так невыносимо дрожат эти заскорузлые пальцы с большими грязными ногтями, которые впервые заметил у себя Гараська.

– Иван Акиндинч, а что же вы Ванятке-то... сюрпризец? – спрашивает Марья.

– Не надо, потом... – отвечает торопливо Баргамот. Он обжигается щами, дует на ложку и солидно обтирает усы, – но сквозь эту солидность сквозит то же изумление, что и у Гараськи.

– Кушайте, кушайте, – потчует Марья. – Герасим... как звать вас по батюшке?

– Андреич.

– Кушайте, Герасим Андреич.

Гараська старается проглотить, давится и, бросив ложку, падает головой на стол прямо на сальное пятно, только что им произведенное. Из груди его вырывается снова тот жалобный и грубый вой, который так смутил Баргамота. Детишки, уже переставшие было обращать внимание на гостя, бросают свои ложки и дискантом присоединяются к его тенору. Баргамот с растерянностью и жалкою миной смотрит на жену.

– Ну, чего вы, Герасим Андреич! Перестаньте, – успокаивает та беспокойного гостя.

– По отчеству... Как родился, никто по отчеству... не называл...



Гостинец

I

– Так ты приходи! – в третий раз попросил Сениста, и в третий раз Сазонка торопливо ответил:

– Приду, приду, ты не бойся. Еще бы не прийти, конечно приду.

И снова они замолчали. Сениста лежал на спине, до подбородка укрытый серым больничным одеялом, и упорно смотрел на Сазонку; ему хотелось чтобы Сазонка подольше не уходил из больницы и чтобы своим ответным взглядом он еще раз подтвердил обещание не оставлять его в жертву одиночеству, болезни и страху.

Сазонке же хотелось уйти, но он не знал, как это сделать без обиды для мальчика, шмурыгал носом, почти сползал со стула и опять садился плотно и решительно, как будто навсегда.

Он бы еще посидел, если бы было о чем говорить; но говорить было не о чем, и мысли приходили глупые, от которых становилось смешно и стыдно. Так, его все время тянуло называть Сенисту по имени и отчеству – Семеном Ерофеевичем, что было отчаянно нелепо: Сениста был мальчишка-подмастерье, а Сазонка был солидным мастером и пьяницей и Сазонкой звался только по привычке. И еще двух недель не прошло с тех пор, как он дал Сенисте последний подзатыльник, и это было очень дурно, но и об этом говорить тоже нельзя.

Сазонка решительно начал сползать со стула, но не доведя дело до половины, так же решительно вполз назад и сказал не то в виде укоризны, не то утешения:

– Такие вот дела. Болит, а?

Сениста утвердительно качнул головой и тихо ответил:

– Ну, ступай. А то он бранить будет.

– Это верно, – обрадовался Сазонка предлогу. – Он и то приказывал: ты, говорит, поскорее. Отвезешь – и той же минутой назад. И чтобы водки ни-ни. Вот, черт!

Но вместе с сознанием, что он может теперь уйти каждую минуту, в сердце Сазонки вошла острая жалость к большеголовому Сенисте. К жалости призывала вся необычная обстановка: тесный ряд кроватей с бледными, хмурыми людьми; воздух, до последней частицы испорченный запахом лекарств и испарениями больного человеческого тела; чувство собственной силы и здоровья. И, уже не избегая просительного взгляда, Сазонка наклонился к Сенисте и твердо повторил:

– Ты, Семен... Сеня, не бойся. Приду. Как ослобонюсь, так и к тебе. Разве мы не люди? Господи! Тоже и у нас понятие есть. Милый! Веришь мне аль нет?

И с улыбкой на почерневших, запекшихся губах Сениста отвечал:

– Верю.

– Вот! – торжествовал Сазонка.

Теперь ему было легко и приятно, и он мог уже поговорить о подзатыльнике, случайно данном две недели назад. И он осторожно намекнул, касаясь пальцем Сенина плеча:

– А ежели тебя по голове кто бил, так разве это со зла? Господи! Голова у тебя очень такая удобная: большая да стриженная.

Сениста опять улыбнулся, и Сазонка поднялся со стула.

Ростом он был очень высок, волосы его, все в мелких кудряшках, расчесанные частой гребенкой, подымались пышно и веселой шапкой, и серые припухшие глаза искрились и безотчетно улыбались.

– Ну, прощевай! – сказал он, но не тронулся с места.

Он нарочно сказал «прощевай!», а не «прощай!», потому что так выходило душевнее, но теперь ему показалось этого мало.

Нужно было сделать что-то еще более душевное и хорошее, такое, после которого Сенисте весело было бы лежать в больнице, а ему легко было бы уйти. И он неловко топтался на месте, смешной в своем детском смущении, когда Сениста опять вывел его из затруднения.

– Прощай! – сказал он своим детским тоненьким голоском, за который его дразнили «гуслиями», и совсем просто, как взрослый, высвободил руку из-под одеяла и, как равный протянул ее Сазонке.

И Сазонка, чувствуя, что это именно то, чего не хватало ему для полного спокойствия, почтительно охватил тонкие пальчики своей здоровенной лапищей, подержал их и со вздохом отпустил.

Было что-то печальное и загадочное в прикосновении тонких горячих пальчиков: как будто Сениста был не только равным всем людям на свете, но и выше всех и всех свободнее, и происходило это оттого, что принадлежал он теперь неведомому, но грозному и могучему хозяину. Теперь его можно было назвать Семеном Ерофеевичем.

– Так приходи же, – в четвертый раз попросил Сениста, и эта просьба прогнала то страшное и величавое, что на миг осенило его своими бесшумными крыльями.

Он снова стал мальчиком, больным и страдающим, и снова стало жаль его – очень жаль.

Когда Сазонка вышел из больницы, за ним долго еще гнался запах лекарств и просящий голос:

– Приходи же!

И, разводя руками, Сазонка отвечал:

– Милый! Да разве мы не люди?

II

Подходила Пасха, и портновской работы было так много, что только один раз в воскресенье Сазонке удалось напиться, да и то не допьяна. Целые дни, по-весеннему светлые и длинные, от петухов до петухов, он сидел на подмостках у своего окна, по-турецки поджав под себя ноги, жмурясь и неодобрительно посвистывая. С утра окно находилось в тени, и в разошедшиеся пазы тянуло холодком, но к полудню солнце прорезывало узенькую желтую полосу, в которой светящимися точками играла приподнятая пыль. А через полчаса уже весь подоконник с набросанными на него обрезками материй и ножницами горел ослепительным светом, и становилось так жарко, что нужно было, как летом, распахнуть окно. И вместе с волной свежего, крепкого воздуха, пропитанного запахом преющего навоза, подсыхающей грязи и распускающихся почек, в окно влетала шальная еще слабосильная муха и проносился разноголосый шум улицы. Внизу у завалинки рылись куры и блаженно кудахтали, нежась в круглых ямках: на противоположной, уже просохшей стороне играли в бабки ребята, и их пестрый, звонкий крик и удары чугунных плит о костяшки звучал и задором и свежестью. Езды по улице, находящейся на окраине Орла, было совсем мало, и только изредка шажком проезжал пригородный мужик; телега подпрыгивала в глубоких колеях, еще полных жидкой грязи, и все части ее стучали деревянным стуком, напоминающим лето и простор полей.

Когда у Сазонки начинало ломить поясницу и одеревеневшие пальцы не держали иглы, он босиком и без подпояски, как был, выскакивал на улицу, гигантскими скачками перелетал лужи и присоединялся к играющим ребятам.

– Ну-ка, дай ударить, – просил он, и десяток грязных рук протягивали ему плиты, и десяток голосов просили:

– За меня! Сазонка, за меня!

Сазонка выбирал плиту поувесистее, засучивал рукав и, приняв позу атлета, мечущего диск, измерял прищуренным глазом расстояние. С легким свистом плита вырывалась из его руки и, волнообразно подскакивая, скользящим ударом врывалась в середину длинного кона, и пестрым дождем рассыпались бабки, и таким же пестрым криком отвечали на удар ребята. После нескольких ударов Сазонка отдыхал и говорил ребятам:

– А Сениста-то еще в больнице, ребята.

Но, занятые своим интересным делом, ребята принимали известие холодно и равнодушно.

– Надобно ему гостинца отнести. Вот уж отнесу, – продолжал Сазонка.

На слово «гостинец» отозвались многие. Мишка Поросенок подергивал одной рукой штанишки – другая держала в подоле рубахи бабки – и серьезно советовал:

– Ты ему гривенник дай.

Гривенник была та сумма, которую обещал дед самому Мишке, и выше ее не шло его представление о человеческом счастье. Но долго разговаривать о гостинце не было времени, и такими же гигантскими прыжками Сазонка перебирался к себе и опять садился за работу. Глаза его припухли, лицо стало бледно-желтым, как у больного, и веснушки глаз и на носу казались особенно частыми и темными. Только тщательно расчесанные волосы подымались все той же веселой шапкой, и, когда хозяин, Гавриил Иванович, смотрел на них, ему непременно представлялся уютный красный кабачок и водка, и он ожесточенно сплевывал и ругался.

В голове Сазонки было смутно и тяжело, и по целым часам он неуклюже ворочал какую-нибудь одну мысль: о новых сапогах или гармонике. Но чаще всего он думал о Сенисте и о гостинце, который он ему отнесет. Машинка монотонно и усыпляюще стучала, покрикивал хозяин – и все одна и та же картина представлялась усталому мозгу Сазонки: как он приходит к Сенисте и подает ему гостинец, завернутый в ситцевый каемчатый платок. Часто в тяжелой дреме он забывал, кто такой Сениста, и не мог вспомнить его лица; но каемчатый платок, который еще нужно купить, представлялся живо и ясно, и даже казалось, что узелки на нем не совсем крепко завязаны. И всем, хозяину, хозяйке, заказчикам и ребятам, Сазонка говорил, что пойдет к мальчику непременно на первый день Пасхи.

– Уж так нужно, – твердил он. – Причешусь, и той же минутой к нему. На, милый, получай!

Но, говоря это, он видел другую картину: распахнутые двери красного кабачка и в темной глубине их залитую сивухой стойку. И его охватывало горькое сознание своей слабости, с которой он не может бороться, и хотелось кричать громко и настойчиво: «К Сенисте пойду! К Сенисте!»

А голову наполняла серая, колеблющаяся муть, и только каемчатый платок выделялся из нее. Но не радость была в нем, а суровый укор и грозное предостережение.

III

И на первый день Пасхи и на второй Сазонка был пьян, дрался, был избит и ночевал в участке. И только на четвертый день удалось ему выбраться к Сенисте.

Улица, залитая солнечным светом, пестрела яркими пятнами кумачовых рубах и веселым оскалом белых зубов, грызущих подсолнухи; играли вразброд гармоника, стучали чугунные плиты о костяшки, и голосисто орал петух, вызывая на бой соседского петуха. Но Сазонка не глядел по сторонам. Лицо его, с подбитым глазом и рассеченной губой, было мрачно и сосредоточено, и даже волосы не вздымались пышной гривой, а как-то растерянно торчали отдельными космами. Было совестно за пьянство и неисполненное слово, было жаль, что представится он Сенисте не во всей красе, – в красной шерстяной рубахе и жилетке, а пропившийся, паскудный, воняющий перегоревшей водкой. Но чем ближе подходил он к больнице, тем легче

ему становилось, и глаза чаще опускались вниз, направо, где бережно висел в руке узелок с гостинцем. И лицо Сенисты виделось теперь совсем живо и ясно, с запекшимися губами и просящим взглядом.

– Милый, да разве? Ах, Господи! – говорил Сазонка и крупно надбавлял шаг.

Вот и больница – желтое, громадное здание, с черными рамами окон, отчего окна походили на темные угрюмые глаза. Вот и длинный коридор, и запах лекарств, и неопределенное чувство жути и тоски. Вот и палата и постель Сенисты...

Но где же сам Сениста?

– Вам кого? – спросила вошедшая следом сиделка.

– Мальчик тут один лежал. Семен. Семен Ерофеев. Вот на этом месте. – Сазонка указал пальцем на пустую постель.

Так нужно допрежде спрашивать, а то ломится зря, – грубо сказала сиделка. – И не Семен Ерофеев, а Семен Пустошкин.

– Ерофеев – это по отчеству. Родителя звали Ерофеем, так вот он и выходит Ерофеич, – объяснил Сазонка, медленно и страшно бледнея.

– Помер ваш Ерофеич. А только мы этого не знаем: по отчеству. По нашему – Семен Пустошкин. Помер, говорю.

– Вот как-с! – благопристойно удивился Сазонка, бледный настолько, что веснушки выступили резко, как чернильные брызги.

– Когда же-с?

– Вчера после вечерен.

– А мне можно!.. – запинаясь, попросил Сазонка.

– Отчего нельзя? – равнодушно ответила сиделка. – Спросите, где мертвецкая, вам покажут. Да вы не убивайтесь! Квельый он был, не жилец.

Язык Сазонки расспрашивал дорогу вежливо и обстоятельно, ноги твердо несли его в указанном направлении, но глаза ничего не видели. И видеть они стали только тогда, когда неподвижно и прямо они уставились в мертвое тело Сенисты. Тогда же ощутился и страшный холод, стоявший в мертвецкой, и все кругом стало видно: покрытые сырими пятнами стены, окно, занесенное паутиной; как бы ни светило солнце, небо через это окно всегда казалось серым и холодным, как осенью. Где-то с перерывами беспокойно жужжала муха; падали откуда-то капельки воды; упадет одна – кап! – и долго после того в воздухе носится жалобный, звенящий звук.

Сазонка отступил на шаг назад и громко сказал:

– Прощевай, Семен Ерофеич.

Затем опустился на колени, коснулся лбом сырого пола и поднялся.

– Прости меня, Семен Ерофеич, – так же отдельно и громко выговорил он, и снова упал на колени, и долго прижимался лбом, пока не стала затекать голова.

Муха перестала жужжать, и было тихо, как бывает только там, где лежит мертвец. И через равные промежутки падали в жестяной таз капельки, падали и плакали – тихо, нежно.

IV

Тотчас за больницей город кончался и начиналось поле, и Сазонка побрел в поле. Ровное, не нарушаемое ни деревом, ни строением, оно привольно раскидывалось вширь, и самый ветерок казался его свободным и теплым дыханием. Сазонка сперва шел по просохшей дороге, потом свернул влево и напрямик по пару и прошлогоднему жнитву направился к реке. Местами земля была еще сыровата, и там после его прохода оставались следы его ног с темными углублениями каблуков.

На берегу Сазонка улегся в небольшой, покрытой травой ложбинке, где воздух был неподвижен и тепел, как в перине, и закрыл глаза. Солнечные лучи проходили сквозь закрытые веки теплой и красной волной; высоко в воздушной синеве звенел жаворонок, и было приятно дышать и не думать. Полая вода уже сошла, и речка струилась узеньким ручейком, далеко на противоположном низком берегу оставив следы своего буйства, огромные, ноздреватые льдины. Пни кучками лежали друг на друге и белыми треугольниками подымались вверх навстречу огненным беспощадным лучам, которые шаг за шагом точили и сверлили их. В полудремоте Сазонка откинул руку – под нее попало что-то твердое, обернутое материей. Гостинец.

Быстро приподнявшись Сазонка вскрикнул:

– Господи! Да что же это?

Он совершенно забыл про узелок и испуганными глазами смотрел на него: ему чудилось, что узелок сам своей волей пришел сюда и лег рядом, и страшно было до него дотронуться.

Сазонка глядел – глядел – глядел не отрываясь, – и бурная, клокочущая жалость и неистовый гнев подымались в нем. Он глядел на каемчатый платок – и видел, как на первый день, и на второй, и на третий Сениста ждал его и оборачивался к двери, а он не приходил. Умер одинокий, забытый – как щенок, выброшенный в помойку. Только бы на день раньше – и потухающими глазами он увидел бы гостинец, и возрадовался бы детским своим сердцем, и без боли, без ужасающей тоски одиночества полетела бы его душа к высокому небу.

Сазонка плакал, впиваясь руками в свои пышные волосы и катаясь по земле. Плакал и, подымая руки к небу, жалко оправдывался:

– Господи! Да разве мы не люди?

И прямо рассеченной губой он упал на землю – и затих в порыве немного горя. Лицо его мягко и нежно щекотала молодая трава; густой, успокаивающий запах подымался от сырой земли, и была в ней могучая сила и страстный призыв к жизни. Как вековечная мать, земля принимала в свои объятия грешного сына и теплом, любовью и надеждой поила его страдающее сердце.

А далеко в городе нестройно гудели веселые праздничные колокола.



Христиане

За окнами падал мокрый ноябрьский снег, а в здании суда было тепло, оживленно и весело для тех, кто привык ежедневно, по службе, посещать этот большой дом, встречать знакомые лица, раскрывать все ту же чернильницу и макать в нее все то же перо. Перед глазами, как в театре, разыгрывались драмы, – они так и назывались «судебные драмы», – и приятно видеть было и публику, и слушать живой шум в коридорах, и играть самому. Весело было в буфете; там уже зажгли электричество, и много вкусных закусок стояло на стойке. Пили, разговаривали, ели. Если встречались пасмурные лица, то и это было хорошо: так нужно в жизни и особенно там, где изо дня в день разыгрываются «судебные драмы». Вон в той комнате застрелился как-то подсудимый; вот солдат с ружьем; где-то брэнчат кандалы. Весело, тепло, уютно.

Во втором уголовном отделении много публики, – слушается большое дело. Все уже на своих местах, присяжные заседатели, защитники, судьи; репортер, пока один, приготовил бумагу, узенькие листки, и всем любит. Председатель, обрюзгший, толстый человек с седыми усами, быстро, привычным голосом перекликивает свидетелей:

- Ефимов! Как ваше имя, отчество?
- Ефим Петрович Ефимов.
- Согласны принять присягу?
- Согласен.
- Отойдите к стороне. Карасев!
- Андрей Егорыч... Согласен.
- Отойдите к... Блументаль!..

Довольно большая кучка свидетелей, человек в двадцать, быстро перемещается слева направо. На вопрос председателя одни отвечают громко и скоро, с готовностью, и сами догадливо отходят к стороне; других вопрос застаёт врасплох, они недоумело молчат и оглядываются, не зная, к ним относится названная фамилия или тут есть другой человек с такой же фамилией. Свидетели положительные ожидали вопроса полностью и отвечали полно, не торопясь, обдуманно; к стороне они отходили лишь после приказания председателя и с другими не смешивались.

Подсудимый, молодой человек в высоком воротничке, обвинявшийся в растрате и мошенничестве, торопливо крутил усики и глядел вниз, что-то соображая; при некоторых фамилиях он оборачивался, брезгливо оглядывал вызванного и снова с удвоенной торопливостью крутил усы и соображал. Защитник, тоже еще молодой человек, зевал в руку и гибко потягивался, с удовольствием глядя в окно, за которым вяло опускались большие мокрые хлопья. Он хорошо выспался сегодня и только что позавтракал в буфете горячей ветчиной с горошком.

Оставалось только человек шесть не вызванных, когда председатель с разбега наткнулся на неожиданность:

- Согласны принять присягу? Отойдите...
- Нет.

Как человек, в темноте набежавший на дерево и сильно ударившийся лбом, председатель на миг потерял нить своих вопросов и остановился. В кучке свидетелей он попытался найти ответившую так определенно и резко – голос был женский, – но все женщины казались одинаковы и одинаково почтительно и готовно глядели на него. Посмотрел в список.

– Пелагея Васильевна Караулова! Вы согласны принять присягу? – повторил он вопрос и выжидательно уставился на женщин.

- Нет.

Теперь он видит ее. Женщина средних лет, довольно красивая, черноволосая, стоит сзади других. Несмотря на шляпку и модное платье с грушеобразными рукавами и большим, неле-

пым напуском на груди, она не кажется ни богатой, ни образованной. В ушах у нее цыганские серьги большими дутыми кольцами; в руках, сложенных на животе, она держит небольшую сумочку. Отвечая, она двигает только ртом; все лицо, и кольца в ушах, и руки с сумочкой остаются неподвижны.

– Да вы православная?

– Православная.

– Отчего же вы не хотите присягать?

Свидетельница смотрит ему в глаза и молчит.

Стоявшие впереди ее расступились, и теперь вся она на виду со своей сумочкой и тонкими желтоватыми руками.

– Быть может, вы принадлежите к какой-нибудь секте, не признающей присяги? Да вы не бойтесь, говорите, – вам ничего за это не будет. Суд примет во внимание ваши объяснения.

– Нет.

– Не сектантка?

– Нет.

Так вот что, свидетельница: вы, может, опасаетесь, что в показаниях ваших может встретиться что-либо неприятное... неудобное для вас лично, – понимаете? Так на такие вопросы, по закону, вы имеете право не отвечать, – понимаете? Теперь согласны?

– Нет.

Голос молодой, моложе лица, и звучит определенно и ясно; вероятно, он хорош в пении. Пожав плечами, председатель взглядом призывает ближе к себе члена суда с левой стороны и шепчется с ним. Тот отвечает также шепотом:

– Тут есть что-то ненормальное. Не беременна ли она?

– Ну, уж скажете... При чем тут беременность? Да и незаметно совсем... Свидетельница Караулова! Суд желает знать, на каком основании вы отказываетесь принять присягу. Ведь не можем же мы так, ни с того ни с сего, освободить вас от присяги. Отвечайте! Вы слышите или нет?

Сохраняя неподвижность, свидетельница что-то коротко отвечает, но так тихо, что ничего нельзя разобрать.

– Суду ничего не слышно. Пожалуйста, громче!..

Свидетельница откашливается и очень громко говорит:

– Я проститутка...

Защитник, тихонько постукивавший ногой в такт каким-то своим мыслям, останавливается и пристально глядит на свидетельницу. «Нужно бы зажечь электричество...» – думает он, и, точно догадавшись о его желании, судебный пристав нажимает одну кнопку, другую. Публика, присяжные заседатели и свидетели поднимают головы и смотрят на вспыхнувшие лампочки; только судьи, привыкшие к эффекту внезапного освещения, остаются равнодушны. Теперь совсем приятно: светло, и снег за окнами потемнел. Уютно. Один из присяжных заседателей, старик, оглядывает Караулову и говорит соседу:

– С сумочкой...

Тот молча кивает головой.

– Ну так что же, что проститутка? – говорит председатель и слово «проститутка» произносит так же привычно, как произносит он другие не совсем обыкновенные слова: «убийца», «грабитель», «жертва». – Ведь вы же христианка?

– Нет, я не христианка. Когда бы была христианка, таким бы делом не занималась.

Положение получается довольно нелепое. Нахмурившись, председатель совещается с членом суда налево и хочет говорить; но вспоминает про существование члена суда направо, который все время улыбался, и спрашивает его согласия. Та же улыбка и кивок головы.

– Свидетельница Караулова! Суд постановил разъяснить вам вашу ошибку. На том основании, что вы занимаетесь проституцией, вы не считаете себя христианкой и отказываетесь от принятия присяги, к которой обязует нас закон. Но это ошибка, – вы понимаете? Каковы бы ни были ваши занятия, это дело вашей совести, и мы в это дело мешаться не можем; а на принадлежность вашу к известному религиозному культу они влиять не могут. Вы понимаете? Можно даже быть разбойником или грабителем и в то же время считаться христианином, или евреем, или магометанином. Вот все мы здесь, товарищ прокурора, господа присяжные заседатели, занимаемся разным делом: кто служит, кто торгует, и это не мешает нам быть христианами.

Член суда с левой стороны шепчет:

– Теперь вы хватили... Разбойник – а потом товарищ прокурора!.. И потом, торгует, – кто торгует? Точно тут лавочка, а не суд. Нельзя, неловко!..

Так вот, – говорит протяжно председатель, отворачиваясь от члена, – свидетельница Караулова, занятия тут ни при чем. Вы исполняете известные религиозные обряды: ходите в церковь... Вы ходите в церковь?

– Нет.

– Нет? Почему же?

– Как же я такая пойду в церковь?

– Но у исповеди и у святого причастия бываете?

– Нет.

Свидетельница отвечает не громко, но внятно. Руки ее с сумочкой застыли на животе, и в ушах еле заметно колышутся золотые кольца. От света ли электричества или от волнения она слегка порозовела и кажется моложе. При каждом новом «нет» в публике с улыбкой переглядываются; один в задних рядах, по виду ремесленник, худой, с общипанной бородкой и кадыком на вытянутой тонкой шее радостно шепчет для всеобщего сведения:

– Вот так загвоздила!

– Ну, а Богу-то вы молитесь, конечно?

– Нет. Прежде молилась, а теперь бросила.

Член суда настойчиво шепчет:

– Да вы свидетельниц спросите! Они ведь тоже из таких... Спросите, согласны они?

Председатель неохотно берет список и говорит:

– Свидетельница Пустошкина! Ваши занятия, если не ошибаюсь...

– Проститутка!.. – быстро, почти весело отвечает свидетельница, молоденькая девушка, также в шляпке и модном платье.

Ей тоже нравится в суде, и раза два она уже переглянулась с защитником; тот подумал: «Хорошенькая была бы горничная, много бы на чай получала...»

– Вы согласны принять присягу?

– Согласна.

– Ну вот видите, Караулова! Ваша подруга согласна принять присягу. А вы, свидетельница Кравченко, вы тоже... вы согласны?

– Согласна! – густым контральто, почти басом отвечает толстая, с двумя подбородками, Кравченко.

– Ну вот видите, и еще!.. Все согласны. Ну так как же?

Караулова молчит.

– Не согласны?

– Нет.

Пустошкина дружески улыбается ей. Караулова отвечает легкой улыбкой и снова становится серьезна. Суд совещается, и председатель, сделав любезное, несколько религиозное лицо, обращается к священнику, который наготове, в ожидании присяги, стоит у аналоя и молча слушает.

– Батюшка! Ввиду упрямства свидетельницы не возьмете ли на себя труд убедить ее, что она христианка? Свидетельница, подойдите ближе!

Караулова, не снимая рук с живота, делает два шага вперед. Священнику неловко: покраснев, он шепчет что-то председателю.

– Нет уж, батюшка, нельзя ли тут?.. А то я боюсь, как бы и те не заартачились.

Поправив наперсный крест и покраснев еще больше, священник очень тихо говорит:

– Сударыня, ваши чувства делают вам честь, но едва ли христианские чувства...

– Я и говорю: какая я христианка?

Священник беспомощно взглядывает на председателя; тот говорит:

– Свидетельница, вы слушайте батюшку: он вам объяснит.

– Все мы, сударыня, грешны перед господом, кто мыслью, кто словом, а кто и делом, и ему, многомилостивому, принадлежит суд над совестью нашей. Смиренно, с кротостью, подобно богоизбраннику Иову, должны мы принимать все испытания, какие возлагает на нас Господь, памятуя, что без воли его ни один волос не упадет с головы нашей. Как бы ни велик был ваш грех, сударыня, самоосуждение, самовольное отлучение себя от церкви составляет грех еще более тяжкий, как покусительство на применение воли Божией. Быть может, грех ваш послан вам во испытание, как посылает Господь болезни и потерю имущества; вы же, в гордыне вашей...

– Ну уж какая, батюшка, гордыня при нашем-то деле!

– ...предрешаете суд Христов и дерзновенно отрекаетесь от общения со святой православной церковью. Вы знаете символ веры?

– Нет.

– Но вы веруете в Господа нашего Иисуса Христа?

– Как же, верую.

– Всякий истинно верующий во Христа тем самым приемлет имя христианина...

– Свидетельница! Вы понимаете: нужно только верить во Христа... – подтверждает председатель.

– Нет! – решительно отвечает Караулова. – Так что же из того, что я верю, когда я такая? Когда б я была христианкой, я не была бы такая. Я и Богу-то не молюсь.

– Это правда... – подтвердила свидетельница Пустошкина. – Она никогда не молится. К нам в дом – дом у нас хороший, пятнадцатирублевый – икону привозили, так она на другую половину ушла. Уж мы как ее уговаривали, так нет. Уж такая она, извините! Ей самой, господин судья, от характера своего нелегко.

– Господь наш Иисус Христос, – продолжал священник, взглянув на председателя, – простил блудницу, когда она покаялась...

Так она покаялась; а я разве каялась?

– Но наступит час душевного просветления, и вы покаетесь.

– Нет. Разве когда старая буду или помирать начну, тогда покаюсь, – да уж это какое покаяние? Грешила-грешила, а потом взяла да в одну минуту и покаялась. Нет уж, дело конченное.

– Какое уже тогда покаяние! – басом подтвердила внимательно слушавшая Кравченко. – Пела-пела песни, да пиво пила, да мужчин принимала, а там, хватить, и покаялась. Кому такое покаяние нужно? Нет уж, дело конченное.

Она подвинулась и жирными, короткими пальцами сняла с плеча Карауловой ниточку; та не пошевелилась.

«Хорошо они, должно быть, поют вместе дуэтом, – подумал защитник, – у этой грудь, как кузнечные мехи. С тоскою поют. Где этот дом, что-то я не помню».

Председатель развел руками и, снова сделав любезное и религиозное лицо, отпустил священника:

– Извините, батюшка!.. Такое упрямство! Извините, что побеспокоили.

Священник поклонился и стал на свое место, у аналоя, и руки, поправлявшие наперсный крест, слегка дрожали. В публике шептались, и ремесленник, у которого борода за это время как будто еще более поредела, тянул шею всюду, где шепчутся, и счастливо улыбался.

– Вот так загвоздила! – громко шептал он, встретив чей-нибудь взгляд.

Подсудимый, недовольный задержкой, брезгливо смотрел на Караулову поспешно крутил усики и что-то соображал.

Суд совещался.

– Ну что же делать? Ведь это же идиотка! – гневно говорил председатель. – Ее люди в Царство Небесное тащат, а она...

– По моему мнению, – сказал член суда, – нужно бы освидетельствовать ее умственные способности. В средние века суд приговаривал к сожжению женщин, которые, в сущности, были истеричками, а не ведьмами.

– Ну, вы опять за свое! Тогда нужно раньше освидетельствовать прокурора: вы посмотрите, что он выделяет!

Товарищ прокурора, молодой человек в высоком воротничке и с усиками, вообще странно похожий на обвиняемого, уже давно старался привлечь на себя внимание суда. Он ерзал на стуле, привставал, почти ложился грудью на пюпитр, качал головою, улыбался и всем телом подавался вперед, к председателю, когда тот случайно взглядывал на него. Очевидно было, что он что-то знает и нетерпеливо хочет сказать.

– Вам что угодно, господин прокурор? Только, пожалуйста, покороче!

– Позвольте мне...

И, не ожидая ответа, товарищ прокурора выпрямился и стремительно спросил Караулову:

– Обвиняемая, виноват, свидетельница, – как вас зовут?

– Груша.

– Это будет... это будет Аграфена, Агриппина. Имя христианское. Следовательно, вас крестили.

И когда крестили, назвали Аграфеной. Следовательно...

– Нет. Когда крестили, так назвали Пелагеей.

– Но вы же сейчас при свидетелях сказали, что вас зовут Грушей?

– Ну да, Грушей. А крестили Пелагеей.

– Но вы же...

Председатель перебил:

– Господин прокурор! Она и в списке значится Пелагеей. Вы поглядите!

– Тогда я ничего не имею...

Он стремительно раздвинул фалды сюртука и сел, бросив строгий взгляд на обвиняемого и защитника.

Караулова ждала. Получалось что-то нелепое. В публике говор становился громче, и судебный пристав уже несколько раз строго оглядывался на зал и поднимал палец. Не то падал престиж суда, не то просто становилось весело.

Тише там! – крикнул председатель. – Господин пристав! Если кто будет разговаривать, то удалите его из зала.

Поднялся присяжный заседатель, высокий костлявый старик, в долгополом сюртуке, по виду старообрядец, и обратился к председателю:

– Можно мне ее спросить?.. Караулова, вы давно занимаетесь блудом?

– Восемь лет.

– А до того чем занимались?

– В горничных служила.

– А кто обольстил? Сынок или хозяин?

– Хозяин.

– А много дал?

– Деньгами десять рублей, да серебряную брошку, да отрез кашемиру на платье. У них свой магазин в рядах.

– Стоило из-за этого идти!

– Молода была, глупа. Сама знаю, что мало.

– Дети были?

– Один был.

– Куда девала?

– В воспитательном помер.

– А больна была?

– Была.

Старик сухо отвернулся и сел и, уже сидя, сказал:

– И впрямь, какая ты христианка! За десять рублей душу дьяволу продала, тело опоганила.

– Бывают старички и больше дают! – вступилась за подругу Пустошкина. – Намедни у нас тоже старичок один был, степенный, вроде как вы...

В публике засмеялись.

– Свидетельница, молчите, – вас не спрашивают! – строго остановил председатель. – Вы кончили? А вам что угодно, господин присяжный заседатель? Тоже спросить?

– Да уж позвольте и мне слово вставить, когда на то дело пошло... – тонким, почти детским голосом сказал необыкновенно большой и толстый купец, весь состоящий из шаров и полушарий: круглый живот, женская округлая грудь, надутые, как у купидона, щеки и стянутые к центру кружочком розовые губы. – Вот что, Караулова, или как тебя там, ты с богом считайся как хочешь, а на земле свои обязанности исполняй. Вот ты нынче присягу отказываешься принимать: «Не христианка я»; а завтра воровать по этой же причине пойдешь, либо кого из гостей сонным зельем опоишь, – вас на это станет. Согрешила, ну и кайся, на то церкви поставлены; а от веры не отступайся, потому что ежели ваш брат да еще от веры отступится, тогда хуть на свете не живи.

– Что ж, может, и красть буду... Сказано, что не христианка.

Купец качнул головой, сел и, подавшись туловищем к соседу, громко сказал:

– Вот попадетя такая баба, так все руки об нее обломаешь, а с места не сдвинешь.

– Они и толстые которые, господин судья, не все честные бывают... – вступилась Пустошкина. – Намедни к нам один толстый пришел, вроде их, напил, набезобразил, нагулял, а потом в заднюю дверку хотел уйти, – спасибо, застрял. «Я, говорит, воском и свечами торгую и не желаю, чтобы святые деньги на такое поганое дело шли», а сам-то пьян-распьянехонек. А по моему...

– Молчите, свидетельница!

– Просто они жулики, больше ничего. Вот тебе и толстые!

– Молчите, свидетельница, а то я прикажу вас вывести. Вам что еще угодно, господин прокурор?

– Позвольте мне... Свидетельница Караулова, я понял, что это у вас кличка Груша, а зовут вас все-таки Пелагеей. Следовательно, вас крестили; а если вас крестили по установленному обряду, то вы христианка, как это и значится, наверное, в вашем метрическом свидетельстве. Таинство крещения, как известно, составляет сущность христианского учения...

Прокурор, овладевая темой, становился все строже.

– Сейчас заговорит о паспорте... – шепнул председатель и перебил прокурора: – Свидетельница, вы понимаете: раз вас крестили, вы, значит, христианка. Вы согласны?

– Нет.

– Ну вот видите, прокурор, она не согласна.

Становилось досадно. Пустяки, бабье вздорное упрямство тормозило все дело, и вместо плавного, отчетливого, стройного постукивания судебного аппарата получалась нелепая бестолковщина. И к обычному тайному мужскому презрению к женщине примешивалось чувство обиды: как она ни скромничает, а выходит, как будто она лучше всех, лучше судей, лучше присяжных заседателей и публики. Электричество горит, и все так хорошо, а она упрямится. И никто уже не смеется, а ремесленник с выщипанной бородкой внезапно впал в тоску и говорит: «Вот я тебя гвозданул бы разок, так сразу бы поняла!» Сосед, не глядя, отвечает: «А тебе бы, братец, все кулаком; ты ей докажи!» – «Молчите, господин, вы этого не понимаете, а кулак тоже от Господа дан». – «А бороду где выщипали?» – «Где бы ни выщипали, а выщипали...» Судебный пристав шипит, разговоры смолкают, и все с любопытством смотрят на совещающихся судей.

– Послушайте, Лев Аркадьич, ведь это бог знает что такое! – возмущается член суда. – Это не суд, а сумасшедший дом какой-то. Что мы судим ее, что ли, или она нас судит? Благодарю покорно за такое удовольствие!

– Да вы-то что? Что ж, я нарочно, по-вашему? – покраснел председатель. – Вы поглядите на эту, на толстую, на Кравченко, – ведь она глазами ее ест. Ведь они тут новую ересь объявят, а я отписывайся! Благодарю вас покорнейше! И не могу же я отказывать, раз уж позволили... Вам угодно что-нибудь сказать, господин присяжный заседатель? Только, пожалуйста, покороче, – мы и так потеряли уже полчаса.

Молодой человек необыкновенно интеллигентного, даже одухотворенного вида; волосы у него были большие, пушистые, как у поэта или молодого попа; кисть руки тонкая, сухая, и говорил он с легким усилием, точно его словам трудно было преодолеть сопротивление воздуха. Во время переговоров с Карауловой он страдальчески морщился, и теперь в тихом голосе его слышится страдание:

– Это очень печально, то, что вы говорите, свидетельница, и я глубоко сочувствую вам; но поймите же, что нельзя так умалить сущность христианства, сводя его к понятию греха и добродетели, хождению в церковь и обрядам. Сущность христианства в мистической близости к Богом...

– Виноват... – перебил председатель. – Караулова, вы понимаете, что значит мистический?

– Нет.

– Господин присяжный заседатель! Она не понимает слова «мистический». Выражайтесь, пожалуйста, проще: вы видите, на какой она, к сожалению, низкой ступени развития.

– Лик Христов – вот основание и точка. Небо раскрылось после обрезания, и нет ни греха, ни добродетели, ни богатства. Прерывистый, задыхающийся шепот – вот эмбрион всех сфинксов...

– Господин присяжный заседатель! Я тоже ничего не понимаю. Нельзя ли проще?

– Проще я не могу... – грустно сказал заседатель. – Мистическое требует особого языка...

Одним словом, нужна близость к Богу.

– Караулова, вы понимаете? Нужна только близость к Богу – и больше ничего.

– Нет. Какая уж тут близость при таком деле! Я и лампадки в комнате не держу. Другие держат, а я не держу.

– Намедни, – басом сказала Кравченко, – гость пива мне в лампадку вылил. Я ему говорю: «Сукин ты сын, а еще лысый». А он говорит: «Молчи, говорит, мурзик, – свет Христов и во тьме сияет». Так и сказал.

– Свидетельница Кравченко! Прошу без анекдотов! Вам еще что нужно, свидетель?

Свидетель, частный пристав в парадном мундире, щелкает шпорами.

– Ваше превосходительство! Разрешите мне уединиться со свидетельницей.

– Это зачем еще?

– Относительно присяги, ваше превосходительство. Я в ихнем участке, где ихний дом...

Я живо, ваше превосходительство... Она присягу сейчас примет.

– Нет, – сказала Караулова, немного побледнев и не глядя на пристава.

Тот повернул голову, грудь с орденами оставляя суду:

– Нет, примете!

– Нет.

– Посмотрим...

– Посмотрите...

– Довольно, довольно!.. – сердито крикнул председатель. – А вы, господин пристав, идите на свое место: мы пока в ваших услугах не нуждаемся.

Щелкнув шпорами, пристав с достоинством отходит. В публике угрюмый шепот и разговоры. Ремесленник, расположение которого снова перешло на сторону Карауловой, говорит: «Ну, теперь держись, баба! Зубки-то начистят, – как самовар, заблестят». – «Ну, это вы слишком!» – «Слишком? Молчите, господин: вы этого дела не понимаете, а я вот как понимаю!» – «Бороду-то где выщипали?» – «Где ни выщипали, а выщипали; а вы вот скажите, есть тут буфет для третьего класса? Надо чирикнуть за упокой души рабы божьей Палагеи».

– Тише там! – крикнул председатель. – Господин судебный пристав! Примите меры!

Судебный пристав на цыпочках идет в места для публики, но при его приближении все смолкают, и так же на цыпочках он возвращается обратно. Репортер с жадностью исписывает узенькие листки, но на лице его отчаяние: он предвидит, что цензура ни в каком случае не пропустит написанного.

– Как хотите, а нужно кончить! – говорит член суда. – Получается скандал.

– Пожалуй, что... Ну что еще вам нужно, господин защитник? Все уже выяснено. Садитесь!

Изящно выгнув шею и талию, обтянутую черным фраком, защитник говорит:

– Но раз было предоставлено слово господину товарищу прокурора...

– Так и вам нужно? – с безнадежной иронией покачал головой председатель. – Ну хорошо, говорите, если так уж хочется, только, пожалуйста, покороче!

Защитник поворачивается к присяжным заседателям.

– Остроумные упражнения господина товарища прокурора и частного пристава в богословии... – начинает он медленно.

– Господин защитник! – строго перебивает председатель. – Прошу без личностей!

Защитник поворачивается к суду и кланяется:

– Слушаю-с.

Затем снова поворачивается к присяжным, окидывает их светлым и открытым взором и внезапно глубоко задумывается, опустив голову. Обе руки его подняты на высоту груди, глаза крепко закрыты, брови сморщены, и весь он имеет вид не то смертельно влюбленного, не то собирающегося чихнуть. И присяжные и публика смотрят на него с большим интересом, ожидая, что из этого может выйти, и только судьи, привыкшие к его ораторским приемам, остаются равнодушны. Из состояния задумчивости защитник выходит очень медленно, по частям: сперва упали бессильно руки, потом слегка приоткрылись глаза, потом медленно приподнялась голова, и только тогда, словно против его воли, из уст выпали проникновенные слова:

– Господа судьи и господа присяжные заседатели!

И дальше он говорит совсем необыкновенно: то шепчет, но так, что все слышат, то громко кричит, то снова задумывается и остолбенело, как в каталепсии, смотрит на кого-нибудь из присяжных заседателей, пока тот не замигает и не ответит глаз.

– Господа судьи и господа присяжные заседатели! Вы слышали только сейчас многозначительный диалог между свидетельницей Карауловой и господином частным приставом, и значение его для вас не представляет загадки. Приняв во внимание те обширные средства воздействия, какими располагает наша администрация, и с другой стороны, – ее неуклонное стремление к возвращению заблудшихся в лоно православия...

– Господин защитник, что же это такое! – возмущается председатель. – Я не могу позволить, чтобы вы осуждали здесь установленные законом власти. Я лишу вас слова.

Товарищ прокурора говорит скромно, но стремительно:

– Я просил бы занести слова господина защитника в протокол.

Не обращая внимания на прокурора, защитник снова кланяется суду:

– Слушаю-с. Я хотел только сказать, господа присяжные заседатели, что госпожа Караулова, насколько я ее понимаю, не отступится от своих взглядов даже в том, невозможном, впрочем, у нас случае, если бы ей угрожали костром или инквизиционными пытками. В лице госпожи Карауловой мы видим, господа присяжные заседатели, перевернутый, так сказать, тип христианской мученицы, которая во имя Христа как бы отрывается от Христа, говоря «нет», в сущности говорит «да»!

Какой-то большой и красивый образ смутно и притягательно блеснул в голове адвоката; пальцы его похолодели, и взволнованным голосом, в котором ораторского искусства было только наполовину, он продолжает:

– Она христианка. Она христианка, и я докажу вам это, господа присяжные заседатели! Показания свидетельниц госпож Пустошкиной и Кравченко и признания самой Карауловой нарисовали нам полную картину того, каким путем пришла она к этому мучительному положению. Неопытная, наивная девушка, быть может, только что оторванная от деревни, от ее невинных радостей, она попадает в руки грязного сластолюбца и, к ужасу своему, убеждается, что она беременна. Родив где-нибудь в сарае, она...

– Нельзя ли покороче, господин защитник! Нам известно с самого начала, что госпожа Караулова занимается проституцией. Господа присяжные заседатели не дети и сами прекрасно знают, как это делается. Вернитесь к христианству. И потом она не крестьянка, а мещанка города Воронежа.

– Слушаю-с, господин председатель, хотя я думаю, что и у мещан есть свои невинные радости. Так вот-с. В душе своей госпожа Караулова носит идеал человека, каким он должен быть по Христу, действительность же с ее благообразными старичками, наливающими пиво в лампадку, с ее пьяным угаром, оскорблениями, быть может, побоями разрушает и оскверняет этот чистый образ. И в этой трагической коллизии разрывается на части душа госпожи Карауловой. Господа присяжные заседатели! Вы видели ее здесь спокойною, чуть ли не улыбающейся, но знаете ли вы, сколько горьких слез пролили эти глаза в ночной тишине, сколько острых игл жгучего раскаяния и скорби вонзилось в это исстрадавшееся сердце! Разве ей не хочется, как другим порядочным женщинам, пойти в церковь, к исповеди, к причастию – в белом, прекрасном платье причастницы, а не в этой позорной форме греха и преступления? Быть может, в ночных грехах своих она уже не раз на коленях ползала к этим каменным ступеням, лобызала их жарким лобзанием, чувствуя себя недостойной войти в святилище... И это не христианка! Кто же тогда достоин имени христианина? Разве в этих слезах не заключается тот высокий акт покаяния, который блудницу превратил в Магдалину, эту святую, столь высоко чтимую...

– Нет! – перебила Караулова. – Неправда это. И не плакала я вовсе и не каялась. Какое же это покаяние, когда то же самое делаешь? Вот вы посмотрите...

Она открыла сумочку, вынула носовой платок и за ним портмоне. Положив на ладонь два серебряных рубля и мелочь, она протянула ее к защитнику и потом к суду. Одна монетка

соскользнула с руки, покружилась по бетонному, натертому полу и легла возле пюпитра защитника. Но никто не нагнулся ее поднять.

– За что вот я эти деньги получила? За это за самое. А платье вот это, а шляпка, а серьги – все за это, за самое. Раздень меня до самого голого тела, так ничего моего не найдешь. Да и тело-то не мое – на три года вперед продано, а то, может, и на всю жизнь, – жизнь-то наша короткая. А в животе у меня что? Портвейн, да пиво, да шоколад, гость вчера угощал, – выходит, что и живот не мой. Нет у меня ни стыда, ни совести: прикажете голой раздеваться – разденусь; прикажете на крест наплевать – наплюю.

Кравченко заплакала. Слезы у нее не точились, а бежали быстрыми, нарастающими капельками и, как на поднос, падали на неестественно выдвинутую грудь. Она их вытирала, но не у глаз, а вокруг рта и на подбородке, где было щекотно.

– А то вот третьего дня меня с одним гостем венчали, так, для шутки, конечно: вместо венцов над головой ночные вазы держали, вместо свечек пивные бутылки доньшками кверху, а за попа другой гость был, надел мою юбку наизнанку, так и ходил. А она, – Караулова показала на плачущую Кравченко, – за мать мне была, плакала, разливалась, как будто всерьез. Она поплакать-то любит. А я смеялась, – ведь и правда, очень смешно было. И к церкви я равнодушна, и даже мимо стараюсь не ходить, не люблю. Вот тоже говорили тут: «Молиться», – а у меня и слов таких нет, чтобы молиться. Всякие слова знаю, даже такие, каких, глядишь, и вы не знаете, несмотря на то что мужчины; а настоящих не знаю. Да о чем и молиться-то? Того света я не боюсь, – хуже не будет; а на этом свете молитвою много не сделаешь. Молилась я, чтобы не рожать, – родила. Молилась, чтобы ребенок при мне жил, – а пришлось в воспитательный отдать. Молилась, чтобы хоть там пожил, – а он взял да и помер. Мало ли о чем молилась, когда поглупее была, да спасибо добрым людям – отучили. Студент отучил. Вот тоже, как вы, начал говорить и о моем детстве, и о прочем, и до того меня довел, что заплакала я и взмолилась: Господи, да унеси ты меня отсюда! А студент говорит: «Вот теперь ты человеком стала, и могу я теперь с тобою любовное занятие иметь». Отучил. Конечно, я на него не сержусь: каждому приятнее с честною целоваться, чем с такой, как я или вот она; но только мне-то от молитвы да от слез прибыли никакой. Нет уж, какая я христианка, господа судьи, зачем пустое говорить? Есть я Груша-цыганка, такую меня и берите. Караулова вздохнула слегка, качнула головой, блеснув золотыми обручами серег, и просто добавила:

– Двугривенный я тут уронила, поднять можно?

Все молчали и глядели, пока Караулова, перегнувшись, поднимала монету со скользкого пола.

– Ну, а вы-то, – с горечью обратился председатель к Пустошкиной и Кравченко, – вы-то согласны принять присягу?

– Мы-то согласны... – ответила Кравченко, плача. – А она нет!

– Господин председатель! – поднялся прокурор, строгий и величественный. – Ввиду того что многие случаи, сообщенные здесь свидетельницей Карауловой, вполне подходят под понятие кощунства, я как представитель прокурорского надзора желал бы знать, не помнит ли она имен?..

– Ну, какое там кощунство! – ответила Караулова. – Просто пьяны были. Да и не помню я, – разве всех упомнишь?

Судьи долго и бесплодно совещаются, подзывают даже к себе прокурора и убедительно, в два голоса, шепчут ему. Наконец постановляют: «Допросить свидетельницу Караулову, ввиду ее нехристианских убеждений, без присяги».

Остальные свидетели тесной кучкой двинулись к аналою, где ждет их облачившийся священник с крестом.

Пристав громко говорит:

– Прошу встать!

Все встают и оборачиваются к аналою. Теперь Карауловой видны одни только спины и затылки: плешивые, волосатые, круглые, плоские, остроконечные.

Священник говорит:

– Поднимите руки!

Все подняли руки.

– Повторяйте за мною, – говорит он одним голосом и другим продолжает: – Обещаюсь и клянусь...

Толпа разрозненно гудит, выделяя густое, еще полное слез, контральто Кравченко.

– Обещаюсь и клянусь...

– Перед всемогущим Богом и святым его Евангелием...

– Перед всемогущим Богом... и святым... его... Евангелием...

Все наладилось и идет как следует: стройно, легко, приятно. Во все время присяги и целования креста Караулова стоит неподвижно и смотрит в одну точку: в спину председателя.

Свидетелей удалили, кроме Карауловой.

– Свидетельница! Суд освободил вас от присяги, но помните, что вы должны показывать одну только правду, по чистой совести. Обещаете?

– Нет... Какая у меня совесть? Я ж говорила, что нет у меня никакой совести.

– Ну что же нам с вами делать? – разводит руками председатель. – Ну, правду-то, понимаете, правду говорить будете?

– Скажу, что знаю.

Через полчаса, в образцовом порядке и тишине, совершается суд. Правильно чередуются вопросы и ответы; прокурор что-то записывает; репортер с деловым и бесстрастным лицом рисует на бумажке какие-то замысловатые орнаменты. Обвиняемый дает продолжительные и очень подробные объяснения. Руки он заложил за спину, слегка покачивается взад и вперед и часто взглядывает на потолок. – ...Что же касается квитанции из городского ломбарда на заложенный велосипед, то происхождение ее таково. Тринадцатого марта прошедшего года я зашел в велосипедный магазин Мархлевского...

...Что же касается якобы моих кутежей в означенном доме терпимости и того, будто я разменивал там сторублевую бумажку, то был я там всего четыре раза: двадцать первого декабря, седьмого января, двадцать пятого того же января и первого февраля, и три раза деньги платил за меня мой товарищ Протасов. Относительно же четвертого раза, когда я платил лично, я прошу разрешения представить суду потребованный мною тогда же счет, из коего видно, что общая сумма издержек, включая сюда...

Горит электричество. За окнами тьма. Весело, тепло, уютно.



Ангелочек

Временами Сашке хотелось перестать делать то, что называется жизнью: не умываться по утрам холодной водой, в которой плавают тоненькие пластинки льда, не ходить в гимназию, не слушать там, как все его ругают, и не испытывать боли в пояснице и во всем теле, когда мать ставит его на целый вечер на колени. Но так как ему было тринадцать лет и он не знал всех способов, какими люди перестают жить, когда захотят этого, то он продолжал ходить в гимназию и стоять на коленках, и ему казалось, что жизнь никогда не кончится. Пройдет год, и еще год, и еще год, а он будет ходить в гимназию и стоять дома на коленках. И так как Сашка обладал непокорной и смелой душой, то он не мог спокойно отнестись ко злу и мстил жизни. Для этой цели он бил товарищей, грубил начальству, рвал учебники и целый день лгал то учителям, то матери, не лгал он только одному отцу. Когда в драке ему расшибали нос, он нарочно расковыривал его еще больше и орал без слез, но так громко, что все испытывали неприятное ощущение, морщились и затыкали уши. Проорав сколько нужно, он сразу умолкал, показывал язык и рисовал в черновой тетрадке карикатуру на себя, как орет, на надзирателя, заткнувшего уши, и на дрожащего от страха победителя. Вся тетрадка заполнена была карикатурами, и чаще всех повторялась такая: толстая и низенькая женщина была скалкой тонкого, как спичка, мальчика. Внизу крупными и неровными буквами чернела подпись: «Проси прощенья, щенок», – и ответ: «Не попрошу, хоть тресни». Перед Рождеством Сашку выгнали из гимназии, и, когда мать стала бить его, он укусил ее за палец. Это дало ему свободу, и он бросил умываться по утрам, бегал целый день с ребятами, и бил их, и боялся одного голода, так как мать перестала совсем кормить его, и только отец прятал для него хлеб и картошку. При этих условиях Сашка находил существование возможным.

В пятницу, накануне Рождества, Сашка играл с ребятами, пока они не разошлись по домам и не проскрипела ржавым, морозным скрипом калитка за последним из них. Уже темно, и с поля, куда выходил одним концом глухой переулок, надвигалась серая снежная мгла; в низеньком черном строении, стоявшем поперек улицы, на выезде, зажегся красноватый, немигающий огонек. Мороз усилился, и, когда Сашка проходил в светлом круге, который образовался от зажженного фонаря, он видел медленно реявшие в воздухе маленькие сухие снежинки. Приходилось идти домой.

– Где полуночицаешь, щенок? – крикнула на него мать, замахнулась кулаком, но не ударила. Рукава у нее были засучены, обнажая белые, толстые руки, и на безбровом, плоском лице выступали капли пота. Когда Сашка проходил мимо нее, он почувствовал знакомый запах водки. Мать почесала в голове толстым указательным пальцем с коротким и грязным ногтем и, так как браниться было некогда, только плюнула и крикнула:

– Статистики, одно слово!

Сашка презрительно шморгнул носом и прошел за перегородку, где слышалось тяжелое дыхание отца, Ивана Саввича. Ему всегда было холодно, и он старался согреться, сидя на раскаленной лежанке и подкладывая под себя руки ладонями книзу.

– Сашка! А тебя Свечниковы на елку звали. Горничная приходила, – прошептал он.

– Врешь? – спросил с недоверием Сашка.

– Ей-богу. Эта ведьма нарочно ничего не говорит, а уж и куртку приготовила.

– Врешь? – все больше удивлялся Сашка.

Богачи Свечниковы, определившие его в гимназию, не велили после его исключения показываться к ним. Отец еще раз побожился, и Сашка задумался.

– Ну-ка подвинься, расселся! – сказал он отцу, прыгая на коротенькую лежанку, и добавил: – А к этим чертям я не пойду. Жирны больно станут, если еще я к ним пойду. «Испорченный мальчик», – протянул Сашка в нос. – Сами хороши, антипы толсторожие.

– Ах, Сашка, Сашка! – поежился от холода отец. – Не сносить тебе головы.

– А ты-то сносил? – грубо возразил Сашка. – Молчал бы уж: бабы боится. Эх, тюря!

Отец сидел молча и ежился. Слабый свет проникал через широкую щель вверху, где перегородка на четверть не доходила до потолка, и светлым пятном ложился на его высокий лоб, под которым чернели глубокие глазные впадины. Когда-то Иван Саввич сильно пил водку, и тогда жена боялась и ненавидела его. Но, когда он начал харкать кровью и не мог больше пить, стала пить она, постепенно привыкая к водке. И тогда она выместила все, что ей пришлось выстрадать от высокого узкогрудого человека, который говорил непонятные слова, выгонялся за строптивость и пьянство со службы и наводил к себе таких же длинноволосых безобразников и гордецов, как и он сам. В противоположность мужу она здоровела по мере того, как пила, и кулаки ее все тяжелели. Теперь она говорила, что хотела, теперь она водила к себе мужчин и женщин, каких хотела, и громко пела с ними веселые песни. А он лежал за перегородкой, молчаливый, съжившийся от постоянного озноба, и думал о несправедливости и ужасе человеческой жизни. И всем, с кем ни приходилось говорить жене Ивана Саввича, она жаловалась, что нет у нее на свете таких врагов, как муж и сын: оба гордецы и статистики.

Через час мать говорила Сашке:

– А я тебе говорю, что ты пойдешь! – И при каждом слове Феокиста Петровна ударяла кулаком по столу, на котором вымытые стаканы прыгали и звякали друг о друга.

– А я тебе говорю, что не пойду, – хладнокровно отвечал Сашка, и углы губ его подергивались от желания оскалить зубы. В гимназии за эту привычку его звали волчонком.

– Изобью я тебя, ох, как изобью! – кричала мать.

– Что же, избеи!

Феокиста Петровна знала, что бить сына, который стал кусаться, она уже не может, а если выгнать на улицу, то он отправится шататься и скорей замерзнет, чем пойдет к Свечниковым; поэтому она прибегла к авторитету мужа.

– А еще отец называется: не может мать от оскорблений оберечь.

– Правда, Сашка, ступай, что ломаешься? – отозвался тот с лежанки. – Они, может быть, опять тебя устроят. Они люди добрые.

Сашка оскорбительно усмехнулся. Отец давно, до Сашкина еще рождения, был учителем у Свечниковых и с тех пор думал, что они самые хорошие люди. Тогда он еще служил в земской статистике и ничего не пил. Разошелся он с ними после того, как женился на забеременевшей от него дочери квартирной хозяйки, стал пить и опустился до такой степени, что его, пьяного, поднимали на улице и отвозили в участок. Но Свечниковы продолжали помогать ему деньгами, и Феокиста Петровна, хотя ненавидела их, как книги и все, что связывалось с прошлым ее мужа, дорожила знакомством и хвалилась им.

– Может быть, и мне что-нибудь с елки принесешь, – продолжал отец.

Он хитрил, – Сашка понимал это и презирал отца за слабость и ложь, но ему действительно захотелось что-нибудь принести больному и жалкому человеку. Он давно уже сидит без хорошего табаку.

– Ну, ладно! – буркнул он. – Давай, что ли, куртку. Пуговицы пришила? А то ведь я тебя знаю!

II

Детей еще не пускали в залу, где находилась елка, и они сидели в детской и болтали. Сашка с презрительным высокомерием прислушивался к их наивным речам и ощупывал в кармане брюк уже переломавшиеся папиросы, которые удалось ему стащить из кабинета хозяина. Тут подошел к нему самый маленький Свечников, Коля, и остановился неподвижно и с видом изумления, составив ноги носками внутрь и положив палец на угол пухлых губ. Месяцев шесть

тому назад он бросил, по настоянию родственников, скверную привычку класть палец в рот, но совершенно отказаться от этого жеста еще не мог. У него были белые волосы, подрезанные на лбу и завитками спадавшие на плечи, и голубые удивленные глаза, и по всему своему виду он принадлежал к мальчикам, которых особенно преследовал Сашка.

– Ты неблагодалный мальчик? – спросил он Сашку. – Мне мисс сказала. А я холосой.

– Уж на что же лучше! – ответил тот, осматривая коротенькие бархатные штанишки и большой откладной воротничок.

– Хочешь лузье? На! – протянул мальчик ружье с привязанной к нему пробкой.

Волчонок взвел пружину и, прицелившись в нос ничего не подозревавшего Коли, дернул собачку. Пробка ударилась по носу и отскочила, болтаясь на нитке. Голубые глаза Коли раскрылись еще шире, и в них показались слезы. Передвинув палец от губ к покрасневшему носику, Коля часто заморгал длинными ресницами и зашептал:

– Злой... Злой мальчик.

В детскую вошла молодая, красивая женщина с гладко зачесанными волосами, скрывавшими часть ушей. Это была сестра хозяйки, та самая, с которой занимался когда-то Сашкин отец.

– Вот этот, – сказала она, показывая на Сашку сопровождавшему ее лысому господину. – Поклонись же, Саша, нехорошо быть таким невежливым.

Но Сашка не поклонился ни ей, ни лысому господину. Красивая дама не подозревала, что он знает многое. Знает, что жалкий отец его любил ее, а она вышла за другого, и, хотя это случилось после того как он женился сам, Сашка не мог простить измены.

– Дурная кровь, – вздохнула Софья Дмитриевна. – Вот не можете ли, Платон Михайлович, устроить его? Муж говорит, что ремесленное ему больше подходит, чем гимназия. Саша, хочешь в ремесленное?

– Не хочу, – коротко ответил Сашка, слышавший слово «муж».

– Что же, братец, в пастухи хочешь? – спросил господин.

– Нет, не в пастухи, – обиделся Сашка.

– Так куда же?

Сашка не знал, куда он хочет.

– Мне все равно, – ответил он, подумав, – хоть и в пастухи.

Лысый господин с недоумением рассматривал странного мальчика. Когда с заплаканных сапог он перевел глаза на лицо Сашки, последний высунул язык и опять спрятал его так быстро, что Софья Дмитриевна ничего не заметила, а пожилой господин пришел в непонятное ей раздражительное состояние.

– Я хочу и в ремесленное, – скромно сказал Сашка.

Красивая дама обрадовалась и подумала, вздохнув, о той силе, какую имеет над людьми старая любовь.

– Но едва ли вакансия найдется, – сухо заметил пожилой господин, избегая смотреть на Сашку и приглаживая поднявшиеся на затылке волосики. – Впрочем, мы еще посмотрим.

Дети волновались и шумели, нетерпеливо ожидая елки. Опыт с ружьем, проделанный мальчиком, внушавшим к себе уважение ростом и репутацией испорченного, нашел себе подражателей, и несколько кругленьких носиков уже покраснело. Девочки смеялись, прижимая обе руки к груди и перегибаясь, когда их рыцари, с презрением к страху и боли, но морщась от ожидания, получали удары пробкой. Но вот открылись двери, и чей-то голос сказал:

– Дети, идите! Тише, тише!

Заранее вытарасив глазенки и затаив дыхание, дети чинно, по паре, входили в ярко освещенную залу и тихо обходили сверкающую елку. Она бросала сильный свет, без теней, на их лица с округлившимися глазами и губками. Минуту царила тишина глубокого очарования, сразу сменившаяся хором восторженных восклицаний. Одна из девочек не в силах была овла-

деть охватившим ее восторгом и упорно и молча прыгала на одном месте; маленькая косичка со вплетенной голубой ленточкой хлопала по ее плечам. Сашка был угрюм и печален – что-то нехорошее творилось в его маленьком изъязвленном сердце. Елка ослепляла его своей красотой и крикливым, наглым блеском бесчисленных свечей, но она была чуждой ему, враждебной, как и столпившиеся вокруг нее чистенькие, красивые дети, и ему хотелось толкнуть ее так, чтобы она повалилась на эти светлые головки. Казалось, что чьи-то железные руки взяли его сердце и выжимают из него последнюю каплю крови. Забившись за рояль, Сашка сел там в углу, бессознательно доламывал в кармане последние папиросы и думал, что у него есть отец, мать, свой дом, а выходит так, как будто ничего этого нет и ему некуда идти. Он пытался представить себе перочинный ножичек, который он недавно выменял и очень сильно любил, но ножичек стал очень плохой, с тоненьким сточенным лезвием и только с половиной желтой костяшки. Завтра он сломает ножичек, и тогда у него уже ничего не останется.

Но вдруг узенькие глаза Сашки блеснули изумлением, и лицо мгновенно приняло обычное выражение дерзости и самоуверенности. На обращенной к нему стороне елки, которая была освещена слабее других и составляла ее изнанку, он увидел то, чего не хватало в картине его жизни и без чего кругом было так пусто, точно окружающие люди неживые. То был восковой ангелочек, небрежно повешенный в гуще темных ветвей и словно реявший по воздуху. Его прозрачные стрекозиные крылышки трепетали от падавшего на них света, и весь он казался живым и готовым улететь. Розовые ручки с изящно сделанными пальцами протягивались кверху, и за ними тянулась головка с такими же волосами, как у Коли. Но было в ней другое, чего лишено было лицо Коли и все другие лица и вещи. Лицо ангелочка не блистало радостью, не туманилось печалью, но лежала на нем печать иного чувства, не передаваемого словами, не определяемого мыслью и доступного для понимания лишь такому же чувству. Сашка не сознавал, какая тайная сила влекла его к ангелочку, но чувствовал, что он всегда знал его и всегда любил, любил больше, чем перочинный ножичек, больше, чем отца, и больше, чем все остальное. Полный недоумения, тревоги, непонятого восторга, Сашка сложил руки у груди и шептал:

– Милый... милый ангелочек!

И чем внимательнее он смотрел, тем значительнее, важнее становилось выражение ангелочка. Он был бесконечно далек и не похож на все, что его здесь окружало. Другие игрушки как будто гордились тем, что они висят, нарядные, красивые, на этой сверкающей елке, а он был грустен и боялся яркого назойливого света, и нарочно скрылся в темной зелени, чтобы никто не видел его. Было бы безумной жестокостью прикоснуться к его нежным крылышкам.

– Милый... милый! – шептал Сашка.

Голова Сашкина горела. Он заложил руки за спину и в полной готовности к смертельному бою за ангелочка прохаживался осторожными и крадущимися шагами; он не смотрел на ангелочка, чтобы не привлечь на него внимания других, но чувствовал, что он еще здесь, не улетел. В дверях показалась хозяйка – важная высокая дама со светлым ореолом седых, высоко зачесанных волос. Дети окружили ее с выражением своего восторга, а маленькая девочка, та, что прыгала, утомленно повисла у нее на руке и тяжело моргала сонными глазками. Подошел и Сашка. Горло его перехватывало.

– Тетя, а тетя, – сказал он, стараясь говорить ласково, но выходило еще более грубо, чем всегда. – Те... Тетечка.

Она не слыхала, и Сашка нетерпеливо дернул ее за платье.

– Чего тебе? Зачем ты дергаешь меня за платье? – удивилась седая дама. – Это невежливо.

– Те... тетечка. Дай мне одну штуку с елки, – ангелочка.

– Нельзя, – равнодушно ответила хозяйка. – Елку будем на Новый год разбирать. И ты уже не маленький и можешь звать меня по имени, Марьей Дмитриевной.

Сашка чувствовал, что он падает в пропасть, и ухватился за последнее средство.

– Я раскаиваюсь. Я буду учиться, – отрывисто говорил он.

Но эта формула, оказывавшая благотворное влияние на учителей, на седую даму не произвела впечатления.

– И хорошо сделаешь, мой друг, – ответила она так же равнодушно.

Сашка грубо сказал:

– Дай ангелочка.

– Да нельзя же! – говорила хозяйка. – Как ты этого не понимаешь?

Но Сашка не понимал, и, когда дама повернулась к выходу, Сашка последовал за ней, бессмысленно глядя на ее черное, шелестящее платье. В его горячечно работавшем мозгу мелькнуло воспоминание, как один гимназист его класса просил учителя поставить тройку, а когда получил отказ, стал перед учителем на колени, сложил руки ладонь к ладони, как на молитве, и заплакал. Тогда учитель рассердился, но тройку все-таки поставил. Своевременно Сашка увековечил эпизод в карикатуре, но теперь иного средства не оставалось. Сашка дернул тетку за платье и, когда она обернулась, упал со стуком на колени и сложил руки вышеупомянутым способом. Но заплакать не мог.

– Да ты с ума сошел! – воскликнула седая дама и оглянулась: по счастью, в кабинете никого не было. – Что с тобой?

Стоя на коленях, со сложенными руками, Сашка с ненавистью посмотрел на нее и грубо потребовал:

– Дай ангелочка!

Глаза Сашкины, впившиеся в седую даму и ловившие на ее губах первое слово, которое они произнесут, были очень нехороши, и хозяйка поспешила ответить:

– Ну, дам, дам. Ах, какой ты глупый! Конечно, я дам тебе, что ты просишь, но почему ты не хочешь подождать до Нового года? Да вставай же! И никогда, – поучительно добавила седая дама, – не становись на колени: это унижает человека. На колени можно становиться только перед Богом.

«Толкуй там», – думал Сашка, стараясь опередить тетку и наступая ей на платье.

Когда она сняла игрушку, Сашка впился в нее глазами, болезненно сморщил нос и растопырил пальцы. Ему казалось, что высокая дама ломает ангелочка.

– Красивая вещь, – сказала дама, которой стало жаль изящной и, по-видимому, дорогой игрушки. – Кто это повесил ее сюда? Ну, послушай, зачем эта игрушка тебе? Ведь ты такой большой, что будешь ты с нею делать?.. Вон там книги есть, с рисунками. А это я обещала Коле отдать, он так просил, – солгала она.

Терзания Сашки становились невыносимыми. Он судорожно стиснул зубы и, показалось, даже скрипнул ими. Седая дама больше всего боялась сцен и потому медленно протянула к Сашке ангелочка.

– Ну, на уж, на, – с неудовольствием сказала она. – Какой настойчивый!

Обе руки Сашки, которыми он взял ангелочка, казались цепкими и напряженными, как две стальные пружины, но такими мягкими и осторожными, что ангелочек мог вообразить себя летящим по воздуху.

– А-ах! – вырвался продолжительный, замирающий вздох из груди Сашки, и на глазах его сверкнули две маленькие слезинки и остановились там, непривычные к свету. Медленно приближая ангелочка к своей груди, он не сводил сияющих глаз с хозяйки и улыбался тихой и кроткой улыбкой, замирая в чувстве неземной радости. Казалось, что когда нежные крылышки ангелочка прикоснутся к впалой груди Сашки, то случится что-то такое радостное, такое светлое, какого никогда еще не происходило на печальной, грешной и страдающей земле.

– А-ах! – пронесся тот же замирающий стон, когда крылышки ангелочка коснулись Сашки. И перед сиянием его лица словно потухла сама нелепо разукрашенная, нагло горящая елка, – и радостно улыбнулась седая, важная дама, и дрогнул сухим лицом лысый господин, и

замерли в живом молчании дети, которых коснулось веяние человеческого счастья. И в этот короткий момент все заметили загадочное сходство между неуклюжим, выросшим из своего платья гимназистом и одухотворенным рукой неведомого художника личиком ангелочка.

Но в следующую минуту картина резко изменилась. Съжившись, как готовящаяся к прыжку пантера, Сашка мрачным взглядом обводил окружающих, ища того, кто осмелится отнять у него ангелочка.

– Я домой пойду, – глухо сказал Сашка, намечая путь в толпе. – К отцу.

III

Мать спала, обессилив от целого дня работы и выпитой водки. В маленькой комнатке, за перегородкой, горела на столе кухонная лампочка, и слабый желтоватый свет ее с трудом проникал через закопченное стекло, бросая странные тени на лицо Сашки и его отца.

– Хорош? – спрашивал шепотом Сашка.

Он держал ангелочка в отдалении и не позволял отцу дотрогиваться.

– Да, в нем есть что-то особенное, – шептал отец, задумчиво всматриваясь в игрушку.

Его лицо выражало то же сосредоточенное внимание и радость, как и лицо Сашки.

Ты погляди, – продолжал отец, – он сейчас полетит.

– Видел уже, – торжествующе ответил Сашка. – Думаешь, слепой? А ты на крылышки глянь. Цыц, не трогай!

Отец отдернул руку и темными глазами изучал подробности ангелочка, пока Саша настойчиво шептал:

– Экая, братец, у тебя привычка скверная за все руками хвататься. Ведь сломать можешь!

На стене вырезывались уродливые и неподвижные тени двух склонившихся голов: одной большой и лохматой, другой маленькой и круглой. В большой голове происходила странная, мучительная, но в то же время радостная работа. Глаза, не мигая, смотрели на ангелочка, и под этим пристальным взглядом он становился больше и светлее, и крылышки его начинали трепетать бесшумным трепетаньем, а все окружающее – бревенчатая, покрытая копотью стена, грязный стол, Сашка, – все это сливалось в одну ровную серую массу, без теней, без света. И чудилось погибшему человеку, что он услышал жалеющий голос из того чудного мира, где он жил когда-то и откуда был навеки изгнан. Там не знают о грязи и унылой брани, о тоскливой, слепо-жестокоей борьбе эгоизмов; там не знают о муках человека, поднимаемого со смехом на улице, избиваемого грубыми руками сторожей. Там чисто, радостно и светло, и все это чистое нашло приют в душе ее, той, которую он любил больше жизни и потерял, сохранив ненужную жизнь. К запаху воска, шедшему от игрушки, примешивался неуловимый аромат, и чудилось погибшему человеку, как прикасались к ангелочку ее дорогие пальцы, которые он хотел бы целовать по одному и так долго, пока смерть не сомкнет его уста навсегда. Оттого и была так красива эта игрушечка, оттого и было в ней что-то особенное, влекущее к себе, не передаваемое словами. Ангелочек спустился с неба, на котором была его душа, и внес луч света в сырую, пропитанную чадом комнату и в черную душу человека, у которого было отнято все: и любовь, и счастье, и жизнь.

И рядом с глазами отжившего человека сверкали глаза начинающего жить и ласкали ангелочка.

И для них исчезло настоящее и будущее: и вечно печальный и жалкий отец, и грубая, невыносимая мать, и черный мрак обид, жестокостей, унижений и злобствующей тоски. Бесформенны, туманны были мечты Сашки, но тем глубже волновали они его смятенную душу. Все добро, сияющее над миром, все глубокое горе и надежду тоскующей о Боге души впитал в себя ангелочек, и оттого он горел таким мягким божественным светом, оттого трепетали бесшумным трепетаньем его прозрачные стрекозиные крылышки.

Отец и сын не видели друг друга; по-разному тосковали, плакали и радовались их больные сердца, но было что-то в их чувстве, что сливало воедино сердца и уничтожало бездонную пропасть, которая отделяет человека от человека и делает его таким одиноким, несчастным и слабым. Отец несознательным движением положил руку на шею сына, и голова последнего так же невольно прижалась к чахоточной груди.

– Это она дала тебе? – прошептал отец, не отводя глаз от ангелочка.

В другое время Сашка ответил бы грубым отрицанием, но теперь в душе его сам собой прозвучал ответ, и уста спокойно произнесли заведомую ложь.

– А то кто же? Конечно, она.

Отец молчал; замолк и Сашка. Что-то захрипело в соседней комнате, затрещало, на миг стихло, и часы бойко и торопливо отчеканили: час, два, три.

– Сашка, ты видишь когда-нибудь сны? – задумчиво спросил отец.

– Нет, – сознался Сашка. – А, нет, раз видел: с крыши упал. За голубями лазили, я и сорвался.

– А я постоянно вижу. Чудные бывают сны. Видишь все, что было, любишь и страдаешь, как наяву...

Он снова замолк, и Сашка почувствовал, как задрожала рука, лежавшая на его шее. Все сильнее дрожала и дергалась она, и чуткое безмолвие ночи внезапно нарушилось всхлипывающим, жалким звуком сдерживаемого плача. Сашка сурово задвигал бровями и осторожно, чтобы не потревожить тяжелую, дрожащую руку, скovyрнул с глаза слезинку. Так странно было видеть, как плачет большой и старый человек.

– Ах, Саша, Саша! – всхлипывал отец. – Зачем все это?

– Ну, что еще? – сурово прошептал Сашка. – Совсем, ну совсем как маленький.

– Не буду... не буду, – с жалкой улыбкой извинился отец. – Что уж... зачем?

Заворочалась на своей постели Феоктиста Петровна. Она вздохнула и забормотала громко и странно-настойчиво: «Дерюжку держи... держи, держи, держи». Нужно было ложиться спать, но до этого устроить на ночь ангелочка. На земле оставлять его было невозможно; он был повешен на ниточке, прикрепленной к отдушине печки, и отчетливо рисовался на белом фоне кафелей. Так его могли видеть оба – и Сашка и отец. Поспешно набросав в угол всякого тряпья, на котором он спал, отец так же быстро разделся и лег на спину, чтобы поскорее начать смотреть на ангелочка.

– Что же ты не раздеваешься? – спросил отец, зябко кутаясь в прорванное одеяло и поправляя наброшенное на ноги пальто.

– Не к чему. Скоро встану.

Сашка хотел добавить, что ему совсем не хочется спать, но не успел, так как заснул с такой быстротой, точно пошел ко дну глубокой и быстрой реки. Скоро заснул и отец. Кроткий покой и безмятежность легли на истомленное лицо человека, который отжил, и смелое личико человека, который еще только начинал жить.

А ангелочек, повешенный у горячей печки, начал таять. Лампа, оставленная гореть по настоянию Сашки, наполняла комнату запахом керосина и сквозь закопченное стекло бросала печальный свет на картину медленного разрушения. Ангелочек как будто шевелился. По розовым ножкам его скатывались густые капли и падали на лежанку. К запаху керосина присоединился тяжелый запах топленого воска. Вот ангелочек встрепенулся, словно для полета, и упал с мягким стуком на горячие плиты. Любопытный прусак пробежал, обжигаясь, вокруг бесформенного слитка, взобрался на стрекозиное крылышко и, дернув усиками, побежал дальше.

В завешенное окно пробивался синеватый свет начинающегося дня, и на дворе уже застучал железным черпаком зазябший водовоз.



Что видела галка

Из рождественских мотивов

Над бесконечной снежной равниною, тяжело взмывая усталыми крыльями, летела галка. Над нею уходило вверх зеленовато-бледное небо, с одной стороны сливавшееся в дымчатой мгле с землею. С другой стороны, той, где только что зашло солнце, замирали последние отблески заката, галке был еще виден багряно-красный, матовый шар опускавшегося солнца, но внизу уже густел мрак зимней, долгой ночи. Куда только хватал глаз, – серело поле, окованное крепким, жгучим морозом. Неподвижная тишина резкого воздуха слабо нарушалась, гоня холодные волны взмахами усталых крыльев, несших галку к одному, только ей видимому лесу, где она решила сегодня переночевать. Зажглись уже звезды, и ночной мрак окутал холодным саваном замерзшую землю, когда галка достигла уже густого леса, смутно черневшего на белой поляне. Слышно было вверху, как от мороза потрескивали деревья, распластавшие свои ветви, отягченные сыпучим, мелким снегом. Захрустели сучки под осторожной ногою какого-то лесного зверя, выходявшего на добычу. Из темной дали донеслись до галки унылые, жуткие звуки волчьего воя, протяжного, дикого. Крутым поворотом галка изменила направление полета, напрягая последние силы, понеслась туда, где, она чувствовала, находится проезжая дорога.

Она любила человеческое общество, и лесная глушь была ей неприятна.

Вот и дорога. Ее можно узнать по темным, душистым кучкам лошадиного помета, которым галка не преминула бы воспользоваться, если бы ей не хотелось так сильно спать. Невдалеке чернелись перила моста над глубоким, но теперь невидимым оврагом. Галке овраг этот был знаком по тому горькому разочарованию, которое он ей доставил. Не более как год тому назад, в эту же самую пору, ей удалось выклевать глаза, поразительно вкусные глаза, у какого-то молодого черноусого молодца. Несмотря на холод, он, догола раздетый, спокойно лежал на крепком, подмерзшем снегу. Из разбитой головы еще сочилась густая, красная кровь. Только слегка шевельнувшийся мизинец показал галке, что она несвоевременно принялась за работу и клюет зрячие глаза, – но подобные пустяки не могли смутить птицу, привыкшую к человеческому обществу. На другой день она, пригласив несколько знакомых галок, вернулась, чтобы поосновательнее перекусить, и каково же было негодование ее и ее подруг, когда, вместо подмерзшего трупа, они нашли только темное пятно крови да массу волчьих следов. Эти господа не постеснялись разорвать на части галкину собственность, а какой-то запоздавший неудачник пытался, по-видимому, есть даже снег, пропитанный кровью. Только в бурной и крикливой манифестации могла галка выразить свою обиду и дать некоторое духовное удовлетворение пустому желудку.

Выбрав дерево поудобнее, галка комфортабельно уселась на тонкой ветке, согнувшейся под ее тяжестью и осыпавшей мелкий, сухой снег. Каркнув, чтобы прочистить застуженное горло, и сжавшись в комок, так, что галкин приятель, мороз, только руками развел, не видя возможности хоть где-нибудь найти незащищенное место, она сладко закрыла сперва один, а потом другой черный глаз и тотчас же заснула.

Много ли, мало ли прошло времени, галка, по отсутствию часов, установить не могла, но факт тот, что она проснулась, совсем еще не выспавшись, и потому недовольная. Разбудило ее ощущение человеческой близости. Около моста серели две закутанные фигуры. Любопытная, как все женщины, галка перелетела на ближайшее дерево и услышала разговор.

– Ну кого в эту ночь понесет нелегкая? – сказал сквозь зубы один, тот, что повыше, выпуская тучу пара сквозь заиндевевшие усы и бороду. – Ну и морозище!

– Погодим полчасика, – ответил другой, похлопывая руками.

Сгорбившись, обе закутанные фигуры скрылись под мостом. Галке так же легко заснуть, как и проснуться. Разочарованная, она заснула, когда какой-то звук снова разбудил ее. За поворотом дороги слышался скрип полозьев по твердому снегу накатанной дороги. Показались небольшие сани. Пузатая малорослая лошаденка бойко перебирала озябшими ногами. На козлах, понурившись, сидел человек; в санях виднелось что-то темное, тоже вроде человека...

– Стой!

На дорогу быстро выскочили те две фигуры, что сидели, спрятавшись, под мостом. Заинтересованная галка, тихонько каркнув про себя от удовольствия, обратилась в слух. Лошаденка остановилась. Кучер что-то сказал человеку, сидевшему в санях, и тот привстал. Воротник шубы скрывал его лицо и голову. Один из первых знакомых галки взял лошадь под уздцы, а другой, тот, что был повыше ростом, крикнул: «Стой!» И подошел к саням. В опущенной руке он держал что-то тяжелое.

– Здоровье вашей милости! – грубо сказал он. – Нуте-ка, вылезайте из саночек – приехали!

– Душегуб, разбойник, – глухо донеслось из-за воротника шубы: – Что хочешь ты делать?

– А там увидишь.

– Слышь, милый человек, не тронь, – сказал сидевший на облучке. – Пра, не стоит.

– Молчи, пока жив! – прикрикнул высокий, сурово метнув черными глазами. – Вон из саней!

– Слышь, милый человек...

Высокий взмахнул чем-то бывшим в руке и блеснувшим при слабом мерцании звезд. Тот кубарем слетел с облучка и, видя, что поднятый топор не опускается, прошептал про себя: «Ишь, какой сердитый, тетка твоя малина!» Сидевший в санях тоже вылез и, нагнувшись, развертывал что-то стоявшее на сиденье. Взяв затем развернутый предмет в руку и держа его перед собою, он медленно направился к высокому, с нетерпением ожидавшему окончания сборов.

Никогда галке ни прежде, ни после не приходилось так удивляться! Как будто перед каким-то призраком, высокий начал отступать перед шедшим на него длинноволосым человеком. Допятился он до товарища, который, увидев то, что держал перед собою длинноволосый человек и что блестело от невидимо откуда исходившего света, отпустил лошадь и также начал отступать. Так двигались они: длинноволосый и перед ним два разбойника. Вот один из них нерешительно поднял руку, снял шапку; другой быстрым движением скинул свою. Длинноволосый остановился, остановились и они.

Сидевший раньше на облучке поднял топор и сказал:

– Говорил тебе, не тронь. Видишь, попа везу. Эх ты, ворона!

Галка оскорбленно каркнула, но ни ее, ни говорившего не слышали те, что стояли друг перед другом.

– Ныне Христос родился, а что вы делаете, душегубы, разбойники! – произнес тихий, старческий голос.

Молчание.

– Я, недостойный служитель Бога, святые дары везу к умирающему. И вы будете умирать, к кому вы на суд пойдете?

Молчание, только хрустнула ветка под шевельнувшейся галкой.

– Любить друг друга заповедал Христос, а что вы делаете? Христианскую кровь проливаете, души свои губите. Убиенные войдут в Царствие Небесное, а вы?

Колена высокого подогнулись, и он упал ниц. Быстро последовал за ним и товарищ. Так лежали они в снегу, не чувствуя, как коченеют их пальцы, а над ними звучал тихий, старческий голос:

– Не мне поклонитесь, а Ему милосердному, который меня послал к вам навстречу. Он, человеколюбец, простил душегубца и татя.

– Батя, прости, – прошептал высокий.

– Прости, батя, не будем, ей-богу, больше не будем, – присоединился второй, поднимая голову.

Священник молча повернулся и пошел к саням.

Галка не хотела признаваться самой себе, что она лично заинтересована в исходе дела. Неодобрительно каркая, она думала, что стоит лишь на страже интересов сословия. Действительно, хорошо будет житься галкам, если люди будут деликатничать друг с другом! Иронически встопорщив перья, галка сделала вид, что не смотрит на дорогу, но тотчас же обошла закон и скосила глаза на нарушителей межжизвотного права.

– Говорил, милый человек, не тронь. Эх!

Скидывай-ка пояс!

Высокий послушно развязал пояс и подал работнику, который медленно и толково прикрутил ему руки к лопаткам.

– Ну-ка ты! Чего слюни-то распустил? Давай пояс, – обратился он к другому.

– Ну, ну! – слабо запротестовал тот, косясь на священника, но развязал пояс и подал.

– Отпусти их, Степан, – сказал священник.

– Как это можно, отец Иван. Меня попадья заругает.

– Отпусти. Не людям дадут ответ, а Богу.

Степан неохотно развязал высокого, дал слегка по шее его товарищу и сел на облучок.

– А с топором-то, милый человек, простись, – проговорил он, трогая лошадь.

Вскоре и сани и седоки скрылись в ночной мгле, откуда донеслось:

– Говорил, не тронь. Эх...

Изумленная до последней степени и возмущенная галка, перегнув голову набок, с любопытством смотрела на оставшихся, в неясной надежде, что дело еще может поправиться. Высокий стоял молча и потупив глаза. Товарищ тронул его руку.

– Пойдем!

Высокий молча двинулся вперед, а за ним поспешно зашагал товарищ. Вскоре и эти скрылись в темноте, и галка, столь любящая человеческое общество, осталась одна. Впрочем, на этот раз человеческое общество ей совсем не понравилось.



Весенние обещания

I

Кузнец Василий Васильевич Меркулов был строгий человек, и когда по праздникам он напивался пьян, то не пел песен, не смеялся и не играл на гармонии, как другие, а сидел в углу трактира и молча грозил черным обожженным пальцем. Грозил он и трактирщику за стойкой, и посетителям, и слуге, подававшему водку и жареную рыбу; приходил домой и там продолжал грозить пустой хате, так как уже давно жил один. В споры и брань с ним не вступали, так как от смешной угрозы он легко переходил к жестокой и кровавой драке; при своих пятидесяти годах был очень силен, и узловатый черный кулак его падал на головы, как молот. И с виду он был еще очень крепок – худощав, но жилист и высок ростом; и ходил гордо: грудь выпирал вперед, а ноги ставил прямо, не сгибая колен, точно вымерял улицу циркулем.

Жил он, как и все в Стрелецкой слободе, не хорошо и не плохо, и никто не думал о нем и не замечал его жизни, так как у всякого была своя трудная и часто мучительная жизнь, о которой нужно было ежеминутно думать и заботиться. Новых людей мало приходило в слободу, заброшенную на край города, и все обитатели ее привыкли друг к другу и не замечали, что время идет, и не видели, как растет молодое и старится старое. Время от времени кто-нибудь умирал; его хоронили и день-два тревожно переговаривались об его неожиданной смерти, а потом все становилось так, словно никто и не умирал, и казалось, будто покойник продолжает еще существовать среди живых, или же что здесь совсем нет живых, а только покойники. Жили на Стрелецкой впроголодь, но принимали это покорно и за существование боролись равнодушно и вяло, – как больные, у которых нет аппетита, вяло и равнодушно переругиваются из-за лишней тарелки невкусного больничного супа.

Хата и кузница Меркулова стояли на краю слободы, там, где начинался берег реки Пересыханки. Берег был изрыт ямами, в которых брали глину и песок; река была мелкая, и летом через нее ездили вброд на тряских, пахнувших дегтем, телегах мужики из соседней деревни. Кузница Меркулова помещалась в землянке, и на землянку похожа была и хата, у которой кривые окна с радужными от старости стеклами дошли до самой земли. Около землянки стояли черные, закопченные столбы для ковки лошадей; и они были старые, бессильно погнувшиеся, а их глубокие продольные трещины походили на глубокие старческие морщины, проведенные долгой и суровой жизнью. Один столб уже два года качался. Меркулов, проходя мимо него пьяный, сурово грозил ему пальцем, но больше ничего не делал, чтобы укрепить его.

Пять месяцев в году Стрелецкая слобода лежала под снегом, и вся жизнь тогда уходила в черные маленькие хаты и судорожно билась там, придушенная грязью, темнотой и бедностью. Сверху все было девственно бело, глухо и безжизненно, а под низкими потолками хат с утра плакали дети, отравленные гнилым воздухом, ругались взрослые и колотились друг о друга, бессильные выбиться из тисков жизни.

И всем было больно. Так же нехорошо и темно было в занесенной хате Меркулова, и все в ней было кривое, черное, грязное той безнадежной грязью, которая въелась в дерево и вещи и стала частью их. Один угол покосился, и окно в нем стояло как-то нелепо, боком, а потолок был черный от копоти, и вместо всяких украшений на стене были наклеены цветные этикетки от бутылок: «Наливка киевская вишневая». Работы зимой было мало, и тяжелым сном проходила одинокая жизнь Меркулова среди кривых стен под черным низким потолком. Он спал, сколько мог, а когда сна не было, лежал и с суровым недоумением и вопросом вглядывался в свою жизнь. Бледными тенями проходило прошлое, и было оно простое и странное до ужаса,

и не верилось тому, что в нем заключена вся жизнь его, а другой жизни нет и никогда не будет. Была жена и умерла от холеры, и лица ее не может вспомнить Меркулов, как будто никогда не существовала она в действительности, а только приснилась. Были и дети: один сын долго хворал, измучил всех и умер, другой пошел в солдаты и пропал без вести. Осталась одна дочь, Марья; она была замужем за пьяницей, сапожником на Стрелецкой, и часто прибегала к Меркулову жаловаться, что муж бьет ее: была она некрасивая и злая; тонкие губы ее дрожали от горя и злости, а один глаз, заплывший синяком, смотрел в узенькую щель, как чужой, печальный и ехидный глаз. Она кричала на всю улицу и бранила мужа; потом начинала бранить отца и называла его пьяницей, а соседские бабы и ребята заглядывали в окна и двери и смеялись. И это была вся его жизнь, а другой нет и никогда не будет.

И он лежал под черным потолком и думал, а на дворе тихо и покорно угасал короткий зимний день. В хате становилось темно, и Меркулов выходил на улицу: безлюдная и глухая, словно вымершая, она тихо лежала под снегом и была точно отражением безжизненного тусклого неба. И между ней и этим однотонно-серым и угрюмым небом быстро нарастала осторожная молчаливая тьма. На колокольне Михаила Архангела благовестили к вечерне, и казалось, что с каждым протяжным ударом на землю спадает мрак. Когда колокол без отзвука умолкал, на всей земле уже стояла покойная немая ночь. Мимо Меркулова, по направлению к реке, проехал на розвальнях мужик. На минуту мелькнула лошаденка, потряхивавшая головой, мужик с поднятым воротом, привалившийся к передку саней, – и все расплылось в глухой тьме, и топота копыт не слышно было, и думалось, что там, куда поехал мужик, так же все скучно, голо и бедно, как и в хате Меркулова, и стоит такая же крепкая зимняя ночь. Вложив руки в карманы штанов, опершись на одну ногу и оставив другую, Меркулов с угрюмым вопросом смотрел на небо, искал на нем просвета и не находил. Был он высок и черен и в своей неподвижности напоминал один из черных столбов кузницы, до самой сердцевины изъеденных временем и жизнью.

Если случались деньги, Меркулов одевался и уходил в город, в трактир «Шелковку». Там он впивал в себя яркий свет ламп и такой же яркий и пестрый гул трактира, слушал, как играет орган, и сперва довольно улыбался, открывая пустые впадины на месте передних зубов, когда-то выбитых лошадьё. Но скоро он напивался, так как был на водку слаб, начинал хмуриться и беспокойно двигать бровями и, поймав на себе чей-нибудь взгляд, многозначительно и мрачно грозил обожженным черным пальцем. Орган, торопливо захлебываясь и шипя, вызванивал трескучую польку; Меркулову казалось, что он не играет, а плюется разбитыми, скачущими звуками ненужного веселья, и от этого становилось обидно, грустно и беспокойно. Он грозил блестящим трубам и непреклонно бормотал:

– Не позволю, чтобы так играть. По какому праву? Нет у тебя права, чтобы так играть. Не позволю.

Когда в одиннадцать часов трактир запирали, Меркулов, покачиваясь и опираясь руками на заборы, долго и трудно шел домой и перед своей хатой останавливался в тяжелом недоумении и гневе.

– Моя хата, – говорил он, удивленно поднимая брови и пытаясь выше поднять отяжелевшие веки. – Не позволю, чтобы так криво стояла.

Потом, мотая головой на ослабевшей шее, блуждая взорами по окружающему, отыскивал на небе то место, куда смотрел вечером, тяжело поднимал руку и грозил согнутым пальцем, не в силах от хмеля распрямить его.

– Не позволю, чтобы так все. По какому праву? И засыпал он с угрюмо сведенными бровями и готовым для угрозы пальцем, но хмельной сон убивал волю, и начинались тяжелые мучения старого тела. Водка жгла внутренности и железными когтями рвала старое, натрудившееся сердце. Меркулов хрипел и задыхался, и в хате было темно, шуршали по стенам невиди-

мые тараканы, и дух людей, живших здесь, страдавших и умерших, делал тьму живой и жутко беспокойной.

II

Началось это на третьей неделе Великого поста, началось неожиданно и оттого особенно радостно. Утром Стрелецкая слобода проснулась в дымчатом, пахнущем гарью тумане, мягком и теплом, а когда туман рассеялся, воздух стал ясный и светлый, и ни на чем не было теней. И словно от земли, от крыш и домов отпало что-то железное, что давило и сковывало, и все начало пахнуть: снег, навоз и дома. У бондаря Гусева пекли хлеб, и по всей улице стоял домовитый приятный запах теплого хлеба. Как полированные, блестели по дороге широкие следы деревянных полозьев с крапинками золотистого лошадиного навоза, кричали выползавшие из хат ребята, и со звонким лаем носились собаки за тяжелым вороньем, грузно приседавшим над черными пятнами старых помоев. И дышалось легко и вольно. Так в нерешимости несколько дней стояла Стрелецкая, а потом солнце взошло на чистом и глубоком небе, и снег начал плавиться с удивительной быстротой, как на огне. Во всех углублениях сбиралась пахучая снежная вода, и бабы перестали ходить на реку: в садах и огородах они выкапывали глубокие ямки, и на дне их, среди рыхлых снежных стенок, собиралась вода, прозрачная и холодная, как в ключах. Все меньше становилось снега и все больше воды; тепло и радостно светило солнце, и в лучах его блестел и сверкал тающий нежный покров. Блестала белым огнем каждая капелька воды, и если стать против солнца, то казалось, что вся земля зажглась в одном ослепительном сиянии, и больно было отвыкшим от света глазам. А в голубом небе было спокойно и торжественно ясно, и, когда Меркулов из-под руки смотрел на него, лицо его, еще пылающее жаром раскаленного горна, становилось трепетно-напряженным, и в редких усах безуспешно пряталась стыдливая улыбка. Он долго стоял на своих негнущихся ногах, смотрел и слушал и всем телом своим чувствовал то глубокое и таинственное, что происходило в природе. Не мертвый, как зимой, а живой был весенний воздух; каждая частица его была пропитана солнечным светом, каждая частица его жила и двигалась, и казалось Меркулову, что по старому, обожженному лицу его осторожно и ласково бегают крохотные детские пальчики, шевелят тонкие волоски на бороде и в резвом порыве веселья отделяют на голове прядь волос и раскачивают ее. Он приглаживал волосы шершавой рукой, а прядь опять поднималась, и в седирах ее сверкало солнце.

И все, что было вокруг: далекое спокойное небо, ослепительное дрожание водяных капель на земле, просторная сияющая даль реки и поля, живой и ласковый воздух – все было полно весенних неясных обещаний. И Меркулов верил им, как верят весне все люди, молодые и старые, счастливые и несчастные. Пятидесятую весну встречал он, а была она нова и радостна, как первая весна его жизни. Весь Великий пост Меркулов много работал, и новое чувство покорности и тихого ожидания не оставляло его. Он покорно принимал тяжелую работу, покорно принимал грязь, тесноту и мучительность своей жизни и в черную хату свою с кривыми углами входил, как в чужую, в которой недолго остается побыть ему. И как что-то новое, доселе невиданное, изучал он черные прокопченные потолки, паутину на углах, покатые полы с прогнившими половицами, изучал с серьезным и глубоким равнодушием постороннего человека. Все с тем же чувством кроткой покорности и смутного сознания, что нужно выполнить какой-то долг, Меркулов весь пост не пил водки, не бранился и питался только черным хлебом и водой. И в воскресенье не шел в трактир, как обычно, а с сосредоточенным и торжественным лицом сидел около своего дома на лавочке или журавлиным шагом прохаживался по Стрелецкой и смотрел, как играют ребята.

А детей было много на Стрелецкой, и нельзя было понять, куда прячутся они зимой, такие живые, громкие и неудержимые. Как мухи на солнце, они бегали, ползали, кружились, и каждый в своей живой подвижности походил на троих, а смех их был как неумолчное жуж-

жание. И тут же вертелись собаки, расхаживали озабоченные куры, и на привалинке грелись белые тощие кошки, и все это жило шумной, беспокойной и веселой жизнью. На солнечной стороне под забором уже слегка зеленела трава, и по ней, без призора, катался крохотный круглый мальчишка, едва начавший ходить. Его уже испугала собака, потом воробей, он долго и громко плакал, но прилетело откуда-то белое и легонькое перышко и село поблизости, шевелясь и собираясь с силами для нового полета. И он старался накрыть его маленькой грязной рукой и задумчиво бормотал:

– Голубосек. Миленький. Подозди.

Но перышко поднялось и улетело, и он опять вспомнил страшного вертлявого воробья и заплакал. Подошла девочка немного побольше, чем он, в больших материнских башмаках, наклонилась, опершись ладонями на колени, и спросила:

– Мишка! Ты что плачешь?

– Кусается.

– Собака кусается?

– Собака кусается, и птичка кусается.

Девочка подумала и презрительно ответила:

– Дурак!

И опять Мишка остался один, ему хотелось есть, и дом был страшно далек, и не было возле близких людей, – все это было так ужасно, что он поднялся, всхлипнул и, опустившись на четвереньки, пополз куда глаза глядят. Меркулов поднял его и понес; Мишка сразу успокоился и, покачиваясь на руках, сверху вниз, серьезно и самодовольно смотрел на страшную и теперь веселую улицу и ни разу до самого дома не взглянул на незнакомого человека, спасшего его.

На Страстной неделе Меркулов говел. Во все дни недели он неукоснительно посещал каждую церковную службу простаивал ее с начала до конца, покупал тоненькие восковые свечи, гнувшиеся в его грубых руках, и чувство покорности и трепетного ожидания росло в его душе. Ранним утром, когда тени от домов лежали еще через всю улицу, он шел в церковь, хрустя тонким ночным ледком, и по мере того, как он подвигался вперед мимо сонных домов, вокруг него вырастали такие же темные фигуры людей, ежившихся от утреннего холодка. Как и Меркулов, они несли в церковь грехи и горе своей жизни, и много их было, и были они бедно и грязно одеты, с темными и грубыми лицами. Они шли быстро и молча, словно боялись пролить хоть каплю из глубокого ковша своей темной жизни, и Меркулов, оглушенный нестройным топотом их ног, охваченный лихорадкой массового неудержимого стремления, шагал все крупнее своими негнушимися журавлиными ногами. И чем ближе к церкви, тем быстрее и беспокойнее становились шаги идущего. Искоса поглядывая, не обгоняет ли кто его, Меркулов шумно входил в притвор, пугался глухого эха своих шагов по каменному звонкому полу и робко открывал тяжелую бесшумную дверь.

И за дверью встречали его холодная, торжественная тишина, подавленные вздохи и утреннее эхом гнусавое и непонятное чтение дьячка, прерываемое непонятными и долгими паузами. Смущаясь скрипом своих шагов, Меркулов становился на место, посреди церкви, крепился, когда все крестились, падал на колени, когда все падали, и в общности молитвенных движений черпал спокойную силу и уверенность.

В пятницу перед исповедью Меркулов просил прощения у дочери своей, Марьи Васильевны, и у мужа ее, пьяницы Тараски. Не говевший Тараска торопливо дошивал сапоги, сосредоточенно шипя дратвой, но к тестю отнесся внимательно и на его низкий поклон ответил поклоном и покаянными словами:

– Что ж, папаша! Все мы, конечно, свиньи. Что там...

Марья Васильевна поджала тонкие губы и со взглядом в сторону неохотно ответила кланявшемуся отцу:

– Бог простит. Простите и нас, если в чем виноваты.

Злая она была и несчастная, и не прощать ей хотелось, а проклинать. Горько и обидно было ей смотреть на отца: что он так благообразен, умыт и причесан, а ей некогда лица сполоснуть; что он полон каким-то неизвестным ей и приятным чувством и завтра его будут поздравлять; что он просит у нее прощения, а сам считает ее ниже себя и даже ниже пьяницы Тараски. И совсем сердито она крикнула на отца:

– Ну, иди, иди! Видишь, люди работают.

Ночью Меркулов не спал и несколько раз выходил на улицу. На всей Стрелецкой не было ни одного огонька, и звезд было мало на весеннем затуманенном небе; черными притаившимися тенями стояли низенькие молчаливые дома, точно раздавленные тяготой жизни. И все, на что смотрел Меркулов: темное небо с редкими немигающими звездами, притаившиеся дома с чутко спящими людьми, острый воздух весенней ночи, – все было полно весенних неясных обещаний. И он ожидал – трепетно и покорно.

III

В обыкновенные дни, в праздники и будни, двери на церковные колокольни бывают заперты, и туда никого не пускают, но на Пасху в течение всей недели двери стоят открытыми, и каждый может войти и звонить сколько хочет – от обедни до самых вечере. На белой колокольне Михаила-архангела, к приходу которого принадлежала Стрелецкая, толкалось в эти дни много праздного разряженного народа: одни приходили посмотреть на город с высоты, стояли у шатких деревянных перил и грызли семечки из-под полы, чтоб не заругался сторож; другие для забавы звонили, но скоро уставали и передавали веревку; и только для одного Меркулова праздничный звон был не смехом, не забавой, а делом таким серьезным и важным, в которое нужно вкладывать всю душу. Как и все, он надевал праздничное и веселое платье: красную рубаху, новые блестящие сапоги, но лицо его с редкой бородкой и беззубым ртом оставалось по-великопостному строгим и замкнутым. Он не понимал, как можно на колокольне смеяться, и хмуро смотрел на скалящих зубы стрельцов, а мальчишек, которые шалили, плевали вниз, перегнувшись через перила, и, как обезьяны, лазали по лесенкам, часто гонял с колокольни и даже драл за уши.

Приходил он на колокольню самым первым, когда в церкви шла еще обедня и звонить нельзя было. Когда он еще только входил в низкую сводчатую дверь колокольни и сразу попал во тьму и сухой холод каменных переходов, он чувствовал себя отрешенным от всего, что составляло его жизнь, и готовым к восприятию чего-то великого, радостного и таинственного, чего нельзя передать словами. На изогнутых ломаных лестницах было тихо той глубокой тишиной, которая копится сотни лет; и из темных углов, занесенных паутиной, от исчербленных кирпичей, из черных загадочных провалов глядело что-то старое, седое и важно задумчивое. Было жутко слышать скрип собственных шагов, и Меркулов переступал ногами осторожно и почтительно, а на промежуточных площадках вежливо отдыхал, хотя усталости не чувствовал. Выбравшись наверх, он степенно, как в церкви, оглядывался, вытирал лоб платком и со страхом перед ожидающим его неизмеримым блаженством застенчиво осматривал большой спокойный колокол – другие, маленькие колокола, он не уважал. И тут, на высоте, было тихо – живой тишиной нежного весеннего воздуха и плывущих в яркой синеве белых облаков. На краю площадки, за перилами, где железные листы были покрыты белым птичьим пометом, ходили и ворковали голуби, и их нежный любовный говор был громче и слышнее всех тех разрозненных, надоедливых звуков, что рождались землей и ползали по ней, бессильные подняться к небу.

Кончалась обедня. Как муравьи, поднявшиеся на задние ножки, расходились по улицам прихожане, и шумной ватагой, стуча деревянными ступеньками, как клавишами, на колокольню взбегали веселые стрельцы, прогоняли криком пугливых голубей, и кто-нибудь хва-

тался за веревку большого спокойного колокола. В хвосте их, не торопясь и не волнуясь, как человек привычный, входил звонарь Семен; он тоже был в красной рубаше, от него слегка пахло водкой, как от других стрельцов, и красное лицо его с окладистой ярко-рыжей бородой широко и благосклонно улыбалось. Он подмигивал Меркулову и говорил:

– Что, кум, позвоним?

– Звоните вы, – угрюмо отвечал Меркулов и недовольно отходил к стороне, жуя губами: от волнения у него пересохло в горле и что-то покалывало в спине. Уже несколько стрельцов отмотали себе руки и ушли, потирая загоревшимися ладонями, и ушел Семен, когда Меркулов решительно оттолкнул стрельца и взялся за веревку. Он боялся обнаружить свое волнение, но руки дрожали и безудержно шевелились губы, а большой спокойный колокол задумчиво смотрел на него всем своим огромным жерлом и терпеливо ждал. И медленно начинал раскачиваться тяжелый железный язык. Он поддавался с важной и плавной медлительностью, подходил все ближе к блестящему краю колокола, почти касался его, и легкий гул уже пробегал по медному туловищу. А потом раздавался удар, первый, робкий, сорвавшийся удар, прозвучавший нерешительно и слабо, со странной мольбой о милости и прощении. И вслед за ним – второй, мощный и гулкий удар сотряс пространство и трепетной дрожью пронизал каменную колокольню; и еще не умер он, как плавно выбежал за ним новый. И так шли они друг за другом, широкие и свободные, как закованные в железо богатыри, которых долго держали в бездейственной засаде, а теперь они выехали на сечу и железным ураганом несутся на дрогнувшего врага. Но хмурился недовольно Меркулов; в могучих и широких звуках он слышал голос холодной и жестокой меди, и не было в них того, что так нужно было его долго ждавшему, ненасытно жаждавшему сердцу. И все крепче тянул он податливую веревку. А другие стрельцы разобрали веревки от остальных колоколов и подняли разноголосый пестрый звон, похожий на их красные, синие и желтые рубашки, и чуткий звонарь Семен издали услышал их. Он обходил с причтом Стрелецкую, был немного пьян и очень весел и насмешливо покачивал головой, прислушиваясь к нестройному и точно пьяному звону.

– Глянь-ка, задувают-то! Чисто ката с кошкой венчают, – говорил он псаломщику, красному от быстрой ходьбы и угощений.

Меркулов не слышал и не чувствовал этой дикой неблагозвучности, на которую издали отозвался Семен. Он весь ушел в борьбу с медным чудовищем и все яростнее колотил его по черным бокам, – и случилось так, что вопль, человеческий вопль прозвучал в голосе бездушной меди и, содрогаясь, понесся в голубую сияющую даль. Меркулов слышал этот вопль, и бурным ликованием наполнилась его душа.

– Ага! – сквозь стиснутые зубы промычал он. – Ага!

И новый вопль, безумно-печальный, полный страданием, как море водой, огненный и страшный, как правда – новый человеческий вопль. Точно в ужасе перед силой человека, заставившей говорить человеческим языком его бездушное тело, частою дрожью дрожал снизу доверху гигантский колокол, и покорно плакал о чуждой ему человеческой доле, и к небу возносил свои мощные мольбы и угрозы. И, сами не зная почему, стали серьезны веселые стрельцы, бросили веревки своих беззаботно тилилинькавших колоколов и хмуро, с неудовольствием на свою непонятную печаль, слушали дикий рев колокола и смотрели на обезумевшего кузнеца. Лицо его налилось кровью; встревоженный, весь дрожащий воздух поднимал жидкие волосы на его голове, и в крепких его руках молотобойца, как перышко, ходил тяжелый железный язык.

Все мучительней и больнее становились человеческие вопли покорного колокола. Меркулов звонил руками, звонил сердцем, которое судорожно и часто ворочалось в его груди; звонил всей тоской и горем изболевшейся человеческой души, одинокой и всеми забытой. Он звонил всей своей жизнью и о всей своей темной жизни звонил он – и все яростнее и требова-

тельнее бил он железом по медным бокам. Будто разбудить он хотел кого-то, кто находится в неведомой голубой дали и спит непробудно, и не слышит, как плачет и стонет земля.

– Отзовись, неведомый! – гудел и надрывался дрожащий колокол. – Отзовись, могучий и жалостливый! Взгляни на прекрасную землю: печальна она, как вдовица, и плачут ее голодные, обиженные дети. Каждый день всходит над землей солнце и в радости совершает круг свой, но весь великий свет его не может рассеять великой тьмы, которой полно страдающее сердце человека. Потеряна правда жизни, и во лжи задыхаются несчастные дети прекрасной земли. Отзовись, неведомый! Отзовись, могучий и жалостливый!

Руки кузнеца не знают усталости. Все громче и громче бьет он по черным бокам, и бурно рыдает звенящая медь:

– Отзовись!

Стрельцы задумались и не смотрят друг на друга. Один отворотил полу поддевки, чтобы достать табаку, и так и остался: рот его изумленно открыт, и глаза со страхом и надеждой следят за тяжело порхающим железным языком, а узкий листик газетной бумаги, приготовленный для сигарки, беспомощно треплется по ветру. Другой – руками и грудью лег на деревянные перила, глядит вниз, но не замечает ничего: ни плоских крыш, точно лежащих на земле, ни блестящей на солнце реки. Что-то знакомое слышит он в рыдающем голосе колокола, знакомое и печальное: так плакала мать когда-то, так плакал он сам. И теперь ему хочется плакать.

– Отзовись же! Отзовись!

В самом конце Стрелецкой прислушивается к колоколу Семен. Он склонил голову набок и неодобрительно покачивает ею. Потом нагоняет о. Андрея и говорит:

– Батюшка, а батюшка! А колокол-то с трещинкой. Давно уже вам говорил, а вы все не верите. Послушайте!

И, наклонив головы, они слушают, а веселое солнце бьет им прямо в глаза и зажигает огнем золотой наперсный крест.

IV

И всегда Меркулов не любил глядеть понизу, а во все дни светлой недели он носил голову немного назад и смотрел вверх лбов. И всю неделю он был трезв, каждое утро от обеден до вечерни звонил на колокольне Михаила-архангела, а после вечерни или сидел у звонаря Семена, или на десяток верст уходил в поле. И домой возвращался только ночью.

На третий день, незадолго до вечерни, на колокольню пришел Семен. Уставший Меркулов отдыхал, и звонил горбатый портной Снегирь, звонил бестолково и нудно, извлекая из колокола нерешительные, дребезжащие звуки.

– Пусти-ка! – сказал Семен.

Застенчиво улыбаясь, портной пустил веревку и стал в сторонке, заложив руки назад, под горб.

– Вот, кум, послушай: я тебе покажу, как надо звонить, – обратился звонарь к Меркулову. – Не по-вашему!

– Что ж, покажи, – высокомерно согласился Меркулов.

Семен забрал между пальцев веревки от маленьких колоколов, стал ногой на доску, приводившую в движение средний колокол, и приказал горбатуму:

– Валяй, звони: пореже да покрепче. За совесть.

Слабосильный портной, улыбаясь и бледнея от натуги, еще раскачивал неподатливый язык, когда в руках Семена уже заговорили нежные и мягкие колокольчики. Они словно смеялись, как дети, торопливо бежали, кружились и разбегались, и с ними засмеялся теплый воздух, светло улыбнулась старая колокольня, и невольная улыбка прошла по сухому лицу Меркулова.

Ясным, как небо, весельем дышали гармоничные звуки, и, путаясь среди их звонких голосов, как взрослый среди играющих детей, мягким баритоном поддакивал средний колокол.

– Да! Да! Да!

– Вот весело! Вот весело! – звенели дети.

– Да! Да! Да! – добродушно соглашался колокол.

И так это было красиво, так беззлобно и светло, что Меркулов хлопнул себя в восторге руками по бедрам, и непривыкшее к смеху лицо его превратилось в странный комок морщин, среди которых совсем пропали черные беспокойные глаза. Семен метнул в него косым пытливый взглядом и уверенно, со строгим и странно-холодным лицом, бросил в воздух такой яркий сноп вызывающе-радостных и певучих звуков, что по горбу слабосильного портного пробежала зыбкая дрожь, и внизу на площади остановились двое прохожих и подняли головы кверху. И большой колокол, который не принуждали больше издавать дикие страдальческие вопли, спокойно отдыхал в густых и мерных ударах, торжественно плывущих в голубую сияющую даль. И так говорили они, веселые колокола:

– Взгляни на прекрасную землю: радостна она, как молодая мать, и ликует под солнцем рожденное ею. Над далеким полем проносятся в вышине наши голоса, и в небе им отвечает жаворонок, а на земле блестящие ручьи. Ты слышишь их хрустальный звон? По межам, по оврагам бегут они и прорывают черные ходы под снегом и каскадом падают в реку. Вот одни из них маленькие, и жизнь их короткая, от бугорка до ближайшей ямы, робко и нежно звенят они, и много чистой радости в их нежном лепете. Вот другие по оврагам, глубокие, бурливые, они поднимают со дна желтую глину, подмывают черный снег и обломки его несут на вольный простор реки. Силой и буйной удалью звучат их голоса, и громкой песней освободившейся земли издадека перекликаются они. Взгляни на землю: прекрасна она, как молодая мать, и радуется под солнцем рожденное ею. Ты слышишь, как растет зеленая трава и лопаются весенние почки? Вот правда жизни.

Семен кончил. Задохнувшийся горбун прижимал к уродливой груди костлявые длинные пальцы и улыбался; внизу собрался народ и тянул головы кверху; и, победоносно вскинув рыжую бороду, звонарь обернулся к Меркулову. Тот стоял на своих длинных негнущихся ногах боком к колоколам – в позе непреклонного и гордого протеста – и смотрел поверх Семеновой головы.

– Вот как по-нашему, – сказал Семен. – Здорово, кум?

Меркулов пожевал беззубым ртом, обвел взором колокола, балки, на которых они висели, презрительно с ног до головы измерил горбуна и ответил:

– Конечно, вы мастер, Семен Савельевич. Однако настоящего звуку у вас нет.

– То-то у тебя есть, – покровительственно засмеялся Семен. – Словно баба палкой по дырявому чугуно бьет. Тоже!

После вечерни Меркулов не пошел домой, а остался у звонаря. Семен пил водку, которую из непонятного чувства долга ежедневно покупал ему Меркулов, потом дома пил чай и, когда солнце уже заходило, позвал молчаливого гостя посидеть на лавочке. Верх белой колокольни еще горел золотом весеннего заката, а внизу уже ложились прозрачные тени, и от каменных стен веяло холодом ночи. Оба молчали, оба курили и внимательно следили за дымом махорки; и дым этот, синий, пахучий, медленно волновался и таял и резче оттенял свежесть и запах весеннего воздуха. Семен не любил долго молчать, ему становилось скучно и вяло, слово за словом, он начинал рассказывать что-то неинтересное о своей службе в церкви, о восковых огарках и характере ктитора, купца Авдунова. О колоколах и звоне он ничего не говорил. Меркулов, чувствовавший позади себя безмолвную таинственную колокольню, хмурился и нетерпеливо ждал момента, когда Семен заговорит о настоящем, о чем нужно и интересно говорить. И, не в силах дожидаться, перебивал звонаря:

– Хорошо вы звоните, Семен Савельич.

Когда Меркулов говорил с ним о житейском и обыкновенном, то называл его «ты» и «Семен», а когда разговор заходил о звоне и колоколах, переходил на «вы» и величал звонаря по отчеству.

– Звоню хорошо, это верно, – согласился Семен. – Но ведь и то сказать: наука.

– Не всякому оно дано.

– Конечно, не всякому, – подтвердил звонарь. – Ухо тоже надо иметь хорошее, чтобы понимать. А то такого кота пустит – ай папаша и мамаша.

Меркулов помолчал.

– Однако вы меня извините, но настоящего у вас нету, – заметил он.

– Звону?

– Звону.

Семен улыбнулся. Он мало думал о том, как он звонит, но знал от людей, что звон у него хороший и веселый; знал и то, что сердце у него радуется, когда он берется за веревку.

– Отец Андрей говорит: «Когда, говорит, Семен, ты звонишь, у меня на столе стаканы пляшут».

– А душа? – спросил Меркулов.

– Что душа?

– Вот, скажем, у меня дочь, Марья, Марья Васильевна. И муж ее ногой по пузу, а она и скинула. Это как же? Так и оставить?

Но Семену не хотелось продолжать скучного разговора о Марье. И он тихонько засвистал, подняв кверху рыжую бороду и обводя ищущими глазами светлое небо, на котором не умер еще день, но уже скоро должны были загореться серебряные звезды. Замолчал и Меркулов и долго сидел так, сердито жуя губами. Потом лицо его просветлело, и он сказал:

– Хорошо на заре звонить, когда все спят. Бухнуть, чтобы все с постелей повскакали.

Семен приостановил свист и, продолжая обыскивать глазами небо, равнодушно спросил:

– А ты слышишь, когда к утрени звонят?

– Нет.

– То-то. И никто не слышит.

Меркулов хотел возразить, но, посмотрев на Семена, на его рыжую бороду, равнодушно торчавшую кверху, сурово сказал:

– Прощай!

Когда Меркулов вышел за шлагбаум, на шоссе уже стало темнеть, и звезды, сперва большие и светлые, как серебряные пяточки, сделались острые и яркие и точно смотрели на землю. Отойдя версты две, Меркулов сел на круглый верстовой камень, торчавший из земли, и тяжело задумался – задумался без мыслей, без слов, той глубокой и странной думой всего тела, которая оковывает человека, как сон. Он тяжело вздыхал и не слышал своих вздохов; доставал табак, делал папиросы и курил – и не замечал этого. Мимо него, сонно погромыхивая, проехала телега; по бокам шоссе, в невидимом поле дремотно звенели ручьи, отдохавшие в холодке от дневной спешной работы, – он не видел телеги, не слышал ручьев. И когда он встал и изумленно оглянулся, не зная, зачем попал сюда, в его душе уже совершалась какая-то сложная, загадочная работа, и сердцу стало легко и радостно.

«Дурак Сенька, даром что Савельич!» – подумал он с усмешкой, бодро шагая к городу на своих негнущихся ногах. Он вспомнил, как рыдал сегодня в его руках большой спокойный колокол и в ключья раздирал голубую даль своим призывным страстным кличем – и так весело сделалось ему, что он не выдержал и засмеялся одиноким сухим смешком, странно прозвучавшим среди ночи и поля. Оно было здесь; оно было в нем и вокруг него, а все, что было раньше, – ушло куда-то, и его нет, и о нем не нужно думать. И так светло в его голове, как в церкви на Пасху, когда у каждого горит в руках восковая свечка.

– Дурак Сенька! – повторил он вслух и снова засмеялся.

В субботу Меркулов звонил в последний раз и, когда Семен почти насильно отнял у него веревку, был бледен от усталости и волнения, и колени его дрожали.

– погоди, постой, – бессмысленно просил он звонаря, осторожно двумя пальцами касаясь его плеча. – Еще надо. Я разок. Потому, еще надо.

Звонарь молча, с неодобрением оттолкнул его, и Меркулов жадными глазами простился с колоколом и ушел. А в воскресенье утром проснулся радостный и бодрый и долго отказывался понять, что ему некуда и незачем идти. Как долго путешествовавший человек, у которого в пути было много приключений, он с любопытством и приязнью рассматривал кривые стены и черный потолок – и не нашел в них, чего искал. Потом пошел в кузницу, потрогал пальцем холодную золу на горне, зачем-то плюнул и с интересом рассматривал плевок, свернувшийся шариком в мягком пепле. Потом пошел и попробовал столб: один качался. Так целое утро слонялся он из хаты в кузницу; долго ходил по своему чахлому садику, где бесприютно торчали голые и как будто сухие прутья малины, и ходил на Стрелецкую смотреть, как дрались из-за гармонии две компании пьяных стрельцов.

А в два часа, когда от безделья он лег спать, его разбудил женский визг, и перед испуганными глазами встало окровавленное и страшное лицо Марьи. Она задыхалась, рвала на себе уже разорванное мужем платье и бессмысленно кружилась по хате, тыкаясь в углы. Крику у нее уже не было, а только дикий визг, в котором трудно было разобрать слова.

– Ой, убил!

Меркулов кружился вместе с ней, но не мог схватить ее: у нее была ушиблена голова, она ничего не понимала и в диком ужасе царапалась ногтями и выла. Левый глаз у нее был выбит каблуком.

К вечеру Меркулов был пьян, подрался с зятем Тараской, и их обоих отправили в участок. Там их бросили на асфальтовый грязный пол, и они заснули пьяным мертвецким сном, рядом, как друзья; и во сне они скрипели зубами и обдавали друг друга горячим дыханием и запахом перегорелой водки.



В Сабурове

Село Сабурово стоит на высоком нагорном берегу Десны, господствуя над бесконечной гладью лугов, лишь на далеком горизонте оттеняемых узкой полоской синеватого леса.

Лет 12 тому назад пришел в Сабурово мужик Пармен Еремеев Костылин. Никто на селе не знал, откуда он явился, да и не интересовался этим вопросом. Пармен был не из тех людей, с которыми приятно поведи душевный разговор о жизни, сидя где-нибудь у залитом сивухой и засиженной мухами кабацкой стойки или валяясь на сене. Причиной тому была частью отвратительная внешность Пармена, частью его замкнутый, необщительный характер. Мужик он был рослый, здоровый, и, глядя на него сзади, всякий чувствовал расположение к этой крепко сколоченной фигуре, со слегка неуверенными движениями и нерешительной походкой. Но другое являлось чувство, когда человек вглядывался в его лицо. Страшная болезнь, известная в народе под именем волчанки, изъела это лицо, как заправский жестокий зверь. Она уничтожила нос, оставив на его месте дыру, скрываемую Парменом под чистой белой тряпочкой; припухшие красноватые веки были совсем почти лишены ресниц и тяжело повисли над серыми глазами, придавая лицу выражение странной сонливости; щеки и подбородок были изборождены шрамами и рубцами, красными и блестящими, как будто произведшие их раны только что зажили. Ни бороды, ни усов не росло на этом убогом лице; на их месте сиротливо торчали тонкие, бесцветные волосики: так после лесного пожара, уничтожившего молодой березняк и осинник, на бугроватой земле одиноко возвышаются обуглившиеся деревца. Много есть на свете безносых людей, которые и поют, и пляшут, и компанию водят, настолько примирившись с отсутствием носа, что и другим начинает казаться: да этому лицу носа совсем и не нужно. Не таков был Пармен. Точно чувствуя себя виноватым в своем безобразии, этот дюжий мужик боялся людей и хоронился от них, а когда обстоятельства принуждали его к беседе, то говорил угрюмо и кратко. И хотя он мухи от роду не обидел, его не то чтобы побаивались, а считали способным на всякие поступки, на которые не решится другой, по пословице: «Бог шельму метит».

Появился Пармен впервые в качестве работника у Федота Гнедых, мужика хворого и слабосильного. Работал Пармен много и не покладая рук, но как-то беззвучно и невидно, точно его и нет. Через три года Федот умер. Пелагея, жена его, поголосила, сколько полагается, над покойником, выветрила избу от мертвого духа и продолжала жить, как и раньше, то есть разрываясь на три части, по количеству детей. Старшему, Гришке, было всего 11 лет, а Санька, весьма требовательная и воинственная девица, еще не была отнята от груди. Подождав немного, Пармен попросил вдову отпустить его.

– Платить тебе нечем, какой я тебе работник, – заявил он коротко и резко.

Пелагея знала, что за золотые руки у Пармена, и в эту минуту он показался ей чуть ли не красавцем.

– Что я одна-то с ребятами поделаю, – заплакала она. – Не оставь ты меня, Еремеич, с малыыми сиротами, будь им заместо отца... А я тебя по гроб твоей жизни не оставлю.

Пармен остался. Если раньше он работал за двоих, то теперь стал работать за десятерых, все так же тихо и безмолвно: одному ему был известен способ, посредством которого он ухитрялся делать невидимую свою рослую фигуру. Даже с Пелагеей, с которой он спал на месте покойного Федота, он был неразговорчив, и только Санька умела вызывать его на разговор и даже на шутку. Эта юная особа, только что усвоившая первые начала пешего хождения и лишь в важных случаях, когда требовалась особенная быстрота, передвигавшаяся на четвереньках, была совершенно чужда чувству красоты. Отсутствие носа у дяди Пармена не только ее не шокировало, как взрослых, но, впадая в крайность, она находила нос излишним придатком. Не говоря уже о том, что он являлся обыкновенно первой жертвой при ее многочисленных

падениях, – у матери ее, Пелагеи, существовала очень дурная привычка: завернув подол платья, хватать им Саньку за нос и немилосердно дергать. Хорошо еще, что нос был маленький, а с большим Саньке совсем бы и не управиться. Сидя у Пармена на коленях, Санька гладила пальцами блестящие края раны и, придерживая другой рукой для вящей ясности свою замазанную сопатку, наводила справки о том, какого приблизительно размера был дядин нос, и куда он девался.

– Собака откусила, – шутил Пармен.

– Жучка? – спрашивала Санька, тараща глаза. – Она самая.

Всесторонне обсудив это сообщение, Санька находила в нем несомненные признаки клеветы: Жучка не такая собака, чтобы откусить нос. Барбос – тот мог, но Жучка никогда. И Санька с ужасом смотрела на соседнего лохматого Барбоса; воображая, как хрустит у него на зубах дядин нос, и с визгом ковыляла к матери, когда Барбоска, пес в действительности вежливый и обходительный, выражал намерение лизнуть ее в лицо.

Постепенно Пармен привык к своему положению и значительно изменился нравом. Смеяться стал; раз, проезжая лесом, хотел запеть, но, видно, и горло было у него испорчено: звук получился такой, как будто ворона закаркала, а не мужик запел. Начал Пармен пользоваться и привилегией счастливых людей: вызывать к себе хорошее отношение. Его меньше чурались, и если продолжали звать «Безносый», то не ради насмешки или от злобы, а просто в отметку действительного факта. Была бы довольна и Пелагея, если бы ее взгляд давно не заметил на этом чистом небе облачка, грозившего превратиться в тучу. Дело было в Гришке. Смуглый, как цыганенок, красивый мальчуган чувствовал непобедимое нерасположение к Пармену Говорливый со всеми, с Парменом он держался дичком и проницательным взглядом не по годам развитого ребенка провожал Пармена, когда тот укладывался на печи спать бок о бок с Пелагеей. В этом взгляде была и ревность, и пренебрежение к «Безносому», занимающему место отца. Но еще больше, чем к матери, ревновал его Гришка к хозяйству, к дому, безотчетно возмущаясь тем, что какой-то чужак, пришелец, распоряжается, как своим, всем этим добром, идущим от деда, а то и прадеда.

– Воистину Господь послал нам Пармена Еремеича, – издали заводила разговор Пелагея, искоса поглядывая на Гришку.

Обыкновенно тот молча уходил, но когда и он и брат Митька подросли настолько, что сами могли управиться с хозяйством, он начал возражать матери.

– Прожили бы и одни, – бурчал он. – Эка невидаль. Думает, – безносый, так всякое ему и уважение. Держи карман шире.

– Чистый ты, Гришка, змееныш, – говорила Пелагея.

Пармен, в противоположность былой мнительности, ставший доверчивым даже до легкомысленности, ничего этого не замечал. Раз Григорий, уже семнадцатилетний здоровый мальчик, пришел домой особенно злой.

– Послушала бы, что люди-то говорят, – сказал он матери. – «У тебя, говорят, вместо отца Безносый». Ребята засмеяли, проходу не дают. Пожил, пора и честь знать.

Чуть ли не каждый день Григорий стал возвращаться к разговору на тему «пора и честь знать». Пелагея возражала, но с каждым разом все слабее. Ей самой начинало казаться странным хозяйничанье Пармена. «И чего он тут в самделе? – думала она, глядя на чужую, отвратительную физиономию Пармена, который, ничего не подозревая, с топориком охаживал кругом плетня. – Ишь колотит, кабудь и вправду мужик».

Митька, парень болезненный и ко всему равнодушный, делал вид, что не замечает озлобления брата.

Было это осенним вечером, в воскресенье. Пармен, благодушествуя, сидел в избе за чаепитием. Тряпочку, которой обвязывался его нос, дома из экономии он снимал, и теперь лицо

его, покрытое красными рубцами, лоснилось от пота и было неприятнее обыкновенного. Потягивая из блюдечка жиденький чай, отдающий запахом распаренного веника, Пармен думал о Саньке, где-то гулявшей с девчонками, удивлялся этому невероятному мужику, Пармену который пьет сейчас такой вкусный чай и так незаслуженно счастлив, размышлял о том, с чего он начнет завтрашний рабочий день... Вошел Григорий, хмельной и решительный. «Эк подгулял парнюга, – усмехнулся Пармен. – Пушай: это он силу в себе чувствует». Не снимая шапки, Григорий остановился перед Парменом. На губах его блуждала пьяная усмешка.

– Прокладываетесь? Чай, значит, распиваете. Так. А на какие-такие капиталы?

Пармен, продолжая улыбаться, хотел что-то сказать, но Григорий прервал его:

– А ежели скажем так: вот бог, а вот и порог. По-жалте, как ваше здоровье?

В глазах Пармена мелькнул испуг, хотя губы все еще продолжали кривиться в улыбку. Григорий, пошатываясь, подошел к Пармену вплотную, вырвал блюдце и выплеснул чай.

– Довольно-таки покуражились. Достаточно. Прямо так скажем: пора и честь знать. А нам безносых не надоть. Пож-жалте! Пофорсили – и будет. А вот, ежели угодно... раз! – Григорий сорвал с крюка армяк Пармена и бросил его на пол. – Два! – За шапкой последовал пояс, потом сапоги, которые Григорий с трудом достал из-под лавки. – Три! Четыре! – Пармен, раскрыв рот, смотрел на парня. Пальцы, в которых он держал блюдце, так и остались растопыренными и дрожали. Вдруг он смутился, из бледноты ударился в краску и засуетился, собирая разбросанные вещи.

Ты что же это, пьяница, делаешь? – заголосила Пелагея, которой стало жаль Пармена.

– А вы, маинька, не суйтесь. Ваше дело бабье, а ежели желаете, то вот... Семь! – Григорий выказал намерение сбросить еще что-то, но пошатнулся и плюхнулся на лавку.

– Что ж это, ничего, – бормотал Пармен: – Это правильно. Волчанка съела. Я уйду.

– Да плюнь ты на него, непутевого, – причитала Пелагея. – Ишь, буркалы-то налил. Головушка моя горькая, доля ты моя бесталанная!..

– Восемь! – считал Григорий, опуская голову на грудь и засыпая. – Двенадцать!..

Через несколько дней Пармен ушел. Григорий во все эти дни избегал всякого с ним разговора; Пелагея тоже не удерживала и только твердила: «Голова моя горькая»; Митька делал вид, что ничего не замечает. Только Санька заревела белугой, узнав, что дядя Безносый уходит.

– А с кем я у поле поеду! – вопияла она, энергично вцепившись в Парменов полушубок.

В эту ночь, первую, проведенную без Пармена, она долго хныкала, вспоминая свою горькую участь. Побитая матерью, она наконец заснула, но часто вскрикивала спросонья и стонала.

Пармену удалось пристроиться сторожем в Шаблыкинском лесу, начинавшемся почти у самого села. Долгую зиму Пармен слушал по ночам волчий протяжный вой, пока не подошла весна, принесшая с собой жизнь для всей природы. Пробудилась жизнь и в окаменелом Пармене. Проваливаясь по колена в мягкий снег, под которым стояла чистая, прозрачная вода, Пармен пошел в гости к Пелагее, но был встречен недружелюбно. Так и ушел он смущенный и потерянный. Но с тех, пор по ночам часто бродил он вокруг темной хаты.

Страстная неделя кончалась. Вечером в субботу Пармен отправился в церковь, захватив с собой кулич, спеченный ему одной бабой с села. От сторожки до Сабурова было версты две, сперва лесом, потом полем, покрытым оврагами и водомоинами. Когда Пармен вышел из дому, темень была такая, что хоть глаз выколи. Звезд и тех не видать было, хотя небо было безоблачно. Воздух стоял теплый, слегка сыроватый от испарений, поднимавшихся с оттаявшей, но не просохшей еще земли. Отовсюду окрест доносился тихий и ровный звук журчащей по межам воды. Разом на Пармена пахнуло свежестью и легким холодком: то потянуло ветром из глубокого оврага, еще наполовину полного снегом. На дне его, между отвесных стен, чуть слышно бурлила вешняя вода. Из беспросветно-черной дали доносился неясный гул и треск, то усиливаясь, то затихая, – это сталкивались, налезали друг на друга и ломались льдины на широко разлившейся Десне. Гул становился все яснее и громче, по мере того, как Пармен

приближался к высокому нагорному берегу, по которому пролегла проезжая дорога. Вот уже ухо различает отдельные звуки: слышно, как бегут одна за другой веселые, бойкие струйки и вертятся, образуя водовороты; слышится, как разогнавшаяся большая льдина врезывается с треском в землю, выплескивая с собой волну. Берег круто заворачивает и открывает вид на церковь. Верх ее теряется в темном небе, но внизу ярко горят освещенные окна и дрожащими, колеблющимися пятнами отражаются на темной, движущейся поверхности многоводной реки, на много верст затопившей луговую сторону.

Церковь была полна. Тоненькие восковые свечи горели тусклым, желтоватым огоньком в душном, спертом воздухе, полном запаха овчины. Сквозь неопределенный шуршащий звук, издаваемый толпой, прорывался страстный молитвенный шепот. Пармен стал в притворе, куда чуть слышно доходил протяжный голос священника. Звучало радостное пение:

Христос воскрес из мертвых...

Сгрудившаяся в притворе, толпа всколыхнулась и сжалась еще более, давая дорогу причту. Прошел в светлых ризах священник; за ним, толкаясь и торопясь, беспорядочно двигались хоругвеносцы и молящиеся. Выбравшись из церкви, они быстро, почти бегом троекратно обошли ее. Радостно возбужденное, но нестройное пение то затихало, когда они скрывались за церковью, то снова вырывалось на простор. Надтреснутый колокол звонил с отчаянным весельем, и его медные, дрожащие звуки неслись, трепеща, в темную даль, через широкую, разлившуюся реку. Внезапно звон затих, и густое, дрожащее гуденье, замирая, позволяло слышать, как шумит река. Утомленное ухо ловило звук далекого благовеста.

– Это в Измалкове звонят, – сказал один из мужиков, прислушиваясь. – Ишь как по воде-то доносит. По всей-то теперь земле звон идет...

И устремленным в темную даль глазам мужика представились бесконечные поля, широкие разлившиеся реки, и опять поля, и одинокие светящиеся церкви... И над всем этим, сотрясая теплый воздух, стоит радостный звон.

– Эх, – вздохнул мужик полной грудью. – Простору-то, простору-то и-и...

Пармен пошел домой еще до окончания церковной службы. В сторожке было холодно и пусто. Пармен разложил на столе кулич, яйца и хотел разговляться, но кусок не шел в горло. Поколебавшись, он снова оделся и пошел в село.

В Сабурове улицы были пустынные и темные, но во всех окнах светился огонь, придавая селу вид необычного скрытого оживления. Хлопнула калитка. Пармен не успел перейти на другую сторону и был остановлен толстым мужиком. Это был Митрофан, поповский работник. Растопырив руки и покачиваясь, он запел:

А-ах, прости-прощай, ты кра-са-вица,
Красота ль твоя мне не нра-а-витца.

Пармен молчал, а подгулявший Митрофан перешел в серьезный тон:

– Христос воскрес, Пармен Еремеевич.

– Воистину воскрес, Митрофан Панкратыч.

Мужики сняли шапки и троекратно поцеловались.

Митрофан надвинул шапку на затылок, вытер рукавом толстые губы и дружески заметил:

– Вишь ты, и рот-то у тебя какой липкий! А я, брат, того – выпил. Поп поднес. На, говорит, Митрофан, выпей от трудов праведных. Я и выпил. Отчего не выпить? Пойду к Титу и у Тита выпью, а поутру у Макарки выпью...

Митрофан наморщил брови, вычисляя, где еще и сколько ему придется выпить за эту неделю. Видимо, результат был утешительный: чело его разгладилось, и шапка как-то сама собой съехала на затылок. Простившись, Митрофан тронулся дальше.

Жучка заметалась и залаяла, когда Пармен подошел к хате Гнедых, но, увидав своего, завертелась волчком и в знак покорности и извинения легла на спину. Пармен погладил ее и осторожно вошел в калитку; он не хотел, чтобы с улицы заметили его.

Сквозь вымытые к празднику стекла оконца отчетливо видна была часть избы. Прямо против Пармена сидела за столом Санька и с надувшимися, как барабан, щеками, с трудом что-то пережевывала. Глаза ее слипались, но зубы неумоимо работали. Рядом сидела Пелагея. Ее худощавый и острый профиль со слегка втянутыми губами был полон праздничной торжественности. Других Пармену видно не было. Вероятно, было сказано что-нибудь очень веселое, потому что Пелагея засмеялась, а Санька подавилась, и мать несколько раз стукнула ее по горбу. Пармен пристально смотрел в одну точку не замечая, как была покончена еда и Пелагея начала убирать стол. Привел его в себя звук открывающейся двери. Захваченный врасплох Пармен отскочил в угол сарая и притаился, стараясь не дышать. На крыльцо вышел Григорий, посмотрел на посветлевшее небо, по которому зажглись запоздавшие звезды, почесался и продолжительно зевнул, оттолкнув от себя Жучку, заявившую о своем желании приласкаться. Оскорбленная собака направилась к Пармену и начала тереться около него.

– Цыц! Назад! – крикнул Григорий, но Жучка не шла. – Аль там кто есть? Мить, ты?

Пармен молчал, прижимаясь к стене. Григорий подошел и увидел сторбившуюся фигуру.

– Кто это? Чего тебе тут надо? Тебе говорят!

Пармен обернулся. Григорий узнал его и, насупившись, хотел поворотить от него в избу, но вдруг у него в голове мелькнула мысль о поджоге, тотчас же перешедшая в уверенность.

Ты чего же здесь прячешься ночью? а?

Пармен молчал.

– А, так ты вот как! – схватил его Григорий за ворот и закричал: – Митька! Митька! Не, брат, не уйдешь.

Но Пармен и не думал уходить. Оцепенев, он бессмысленно смотрел на побледневшее от злости лицо Григория, потом на Митьку, который по настойчивому требованию брата стал шарить в его карманах, вытащив оттуда какую-то веревочку и коробок фосфорных спичек.

– А, поджигатель! – заорал Григорий. – Вот он твой благодетель-то, гляди! – крикнул он матери, с испугом смотревшей на эту сцену, и, рванув, стукнул Пармена головой о стену.

Санька, глаза которой хотели, казалось, выскочить из своих впадин, легонько охнула.

– Да что ты! – заговорил наконец Пармен. – Нешто я могу. Опамятавайся, бог с тобой.

– Еще поговори, гунявый!

– Так, значит, пришел, вот тебе крест. Не чужие ведь. Заместо отца был. Грех тебе, Гриша.

Гнев Григория начал было отходить, но последние слова снова разбудили его. Тряся Пармена за ворот, он грозил сейчас же отправить его в волостное правление и требовал, чтобы ему подали шапку и одежду.

Митрий лениво вступился:

– Пусти его, Григорий! Пушай идет.

– Головушка моя горькая! – запричитала Пелагея, скрываясь в избу и таща за собой Саньку, но та снова выскочила: у нее были свои мысли по поводу происходящего.

– Ну, так и быть, в последний раз, – отпустил Григорий ворот Парменова полушубка. – Только попомни мое слово: ежели еще раз увижу, безо всякого разговора колом огрею! Ну, чего стал! Иди, коли говорят!

Пармен поднял упавшую шапку и хотел что-то сказать, но трясущиеся губы не повиновались. Раза два открывался его рот, обнаруживая черные сгнившие зубы, но только одно слово вылетело оттуда:

– Про...щайте. Сгорбившийся, как будто на его ворота все еще лежала тяжелая рука Григория, шагал Пармен по улицам. Огоньки всюду погасли, и на селе царила тишина, – только один какой-то неудовлетворенный пес меланхолично завывал, восходя до самых высоких, чистых нот и спускаясь оттуда до легкого повизгивания. До солнца было еще далеко, но ночной мрак начал уже рассеиваться и сменился сероватым полусветом. Внезапно сзади Пармена послышался частый, дробный топот босых ног. Детский задыхающийся голос кричал, вытягивая, последние слова:

– Дядя Без-но-сай! Дядя Безно-сай!..

Пармен обернулся. С развевающейся вокруг ног юбочкой бежала к нему Санька; кричать она была уже не в силах и только раскрывала рот.

Рядом с Санькой бежала вприпрыжку, куцая Жучка. Подлетев к Пармену Санька с разгону протянула к нему руку и из последнего запаса воздуха отрывисто шепнула:

– На.

– Что ты, Сашута? – наклонился к ней удивленный Пармен, не видя, что Жучка, перевернувшись на спину, также старается привлечь на себя его внимание! – Санька широко раскрыла рот и набрала воздуха для целой речи, но с первым же словом выпустила его:

– Тебе.

– Куда ты бежишь-то, стрекоза? – недоумевал все более Пармен.

– Дядя Безносый, пирог, – разрешилась наконец Санька, из благоразумной предосторожности не останавливаясь на знаках препинания.

Ее ручонка с трудом охватывала большой кусок пирога, порядком уже замусоленный. Присутствуя при объяснении Григория с Парменом, Санька без труда сообразила, что дядя Безносый приходил не поджигать, а разговляться, потому что живет он один и есть ему нечего. Раньше ему есть мамка давала, а теперь кто даст?

– Ешь, – протягивала Санька пирог. Как все особы ее возраста, она любила видеть немедленное осуществление своих планов. – Чего же ты не ешь?

Пармен, сжимая руками худенькие плечи, смотрел не отрываясь на ее пухлые щеки и вздернутый носик, не изменивший своим привычкам и где-то запачканный.

«Вот чудак-то: есть не хочет, – думала с недоверием Жучка, косясь на пирог и легонько подрягивая задней ногой: – а я бы съела».

– Ну, ешь, – просила Санька.

Вместо ожидаемого ответа Пармен подхватил ее на руки и прижал лохматую головенку к своей рубцеватой, шершавой щеке. Саньке было тепло и хорошо, пока что-то мокрое не поползло по ее шее. Отдернув голову, она увидела, что дядя Безносый, этот страшно высокий и сильный дядя Безносый – плачет.

– Чего ты? Не плачь, – прошептала Санька. – Не плачь, – сурово продолжала она, не получая ответа. – А то и я зареву.

Пармен знал, что значит, когда Санька ревет, – значило это разбудить всю деревню, – и прошептал, целуя большие влажные глаза:

– Ничего, Сашута, ничего, девочка. Так это я, пройдет. Не забыла, вспомнила. – И снова слезы быстро закапали из глаз Пармена. – Обидели меня, Сашута. Да что ты, голубка?

Закрыв один глаз рукой, в которой находился пирог, Санька выразительно скривила рот и загудела:

– У-у... Гришка... Злю-ка-а!

– Ну, что ты, Сашута, – упрашивал ее Пармен.

– Разбо-й-ник, – продолжала непримиримая девица. Со двора Гнедых послышался зов: «Сань-к-а-а-а!»

– Не пойду-у – гудела Санька, несколько понизив тон.

Услышав голос Пелагеи, Пармен поспешно спустил Саньку наземь и, суетливо крестя ее, шептал:

– Иди с богом, девочка моя милая, иди, а то матка осерчает.

– Пуца-ай, не бою-у-сь.

– Иди, милая, иди.

Нагнув голову, как бычок, готовый бодаться, Санька нерешительно тронулась с места, но, спохватившись, что миссия ее еще не окончена, вернулась, отдала пирог – и легче пуха полетела к дому. Бросив прощальный взгляд на пирог, неохотно заковыляла за ней Жучка. В следующую минуту со двора Гнедых послышался сердитый крик Пелагеи.

Было почти светло, когда Пармен вышел на берег и сел на бугре, покрытом желтой прошлогодней травой, среди которой там и здесь проглядывали зеленые иглы новой. Внизу плескалась река. Воды за ночь прибыло. И вся река как будто приблизилась. С верховьев шел густой белый лед. Он двигался плавно, неслышно, как по маслу. Точно не он шел, а вся река.

Небо из серого стало белым, потом поголубело, а Пармен все сидел. И тосковал глубоко.



СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

Часть 1

В одном великорусском небогатом селе жил старенький шестидесятилетний поп, по имени отец Иван Богоявленский. О том, как началась его жизнь, о годах его детства и юности не мог бы рассказать никто: сам он за давностью лет все позабыл, а жена и дети, родственники и знакомые просто ничего не знали. И выходило так, будто у его жизни совсем не было начала – как не будет, вероятно, и конца. На коридор была похожа его жизнь, на длинный коридор, в котором множество глухих дверей: впереди открывается, а сзади захлопывается что-то и хоронит в тишине.

И чем дольше жил о. Иван, тем больше отдалялся он от людей и даже от самого себя. Когда-то ему казалось, что его знают все люди, весь мир знает его, и даже сам Бог внимательно следит за ним треугольником Своих очей; но вот прошло время, и его перестали знать, – в лесу все деревья похожи одно на другое. Главную же причину было то, что все поступки его были не те, какие надо, и все слова его были не те, какие надо; но об этом никто догадаться не мог, а сам он, если и являлось желание, так все же рассказать не умел: не было слов, какие нужны для такого странного и страшного рассказа. По виду был он низенький, сухой старичок, с реденькой, ошипанной злой бороденкой и темным, присохшим к костяку лицом; взглядевшись пристальнее в его нос, можно было заметить даже ту границу где впоследствии образуется провал и исчезнет призрачное. Характер же у попа Ивана был скверный; часто злился поп Иван, ехидничал, при игре в карты заглядывал к соседям и вообще мошенничал, а детей в церковной школе драл за уши с жестокосердием.

И уже давно он начал проявлять некоторые странности. Так, лет за десять перед этим, когда его старший сын уже сам сделался священником, о. Иван вдруг пожелал переменить фамилию. Пятьдесят лет был Богоявленским, и отца имел Богоявленского и деда Богоявленского, и уже внуки от него пошли Богоявленские, а тут вдруг пожелал перелицеваться и выскокить из цепи, странным образом разорвав ее и концы оставивши в воздухе. Писал прошения, хлопотал, ездил в город и давал в консистории взятки, но ничего не добился, так как не мог представить уважительных причин.

– Какой же я Богоявленский? – говорил он, раздраженно пощипывая бородку, но более обстоятельного объяснения представить не умел. И прошения свои писал он так:

«Нося от отца моего, как бы в дар, наравне с прочим наследственным имуществом, фамилию Богоявленского и не будучи по существу таковым, свидетельствуюсь перед Вашим Высокопреосвященством о моем непременном желании заменить сей неподходящий знак более разумительным и к существу моему ближайшее отношение имеющим; при выборе же оно и не имея собственной мудрости полагаюсь на мудрость выше меня стоящих». И подпись следовала такая: «протоиерей Иван без фамилии».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.